

Рада Аллой

# Веселый СПУТНИК

Воспоминания  
об Иосифе  
Бродском



*Издание выпущено при поддержке  
РАО «ЕЭС России» и Международного  
благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева*



**Рада Аллой**

**ВЕСЕЛЫЙ СПУТНИК**

*Воспоминания об Иосифе Бродском*

Журнал «Звезда»  
Санкт-Петербург  
2008

ББК 84. Р7

А 45

Редактор *Я. Гордин*

Художник *В. А. Гусаков*

**ISBN 978-5-7439-0117-3**

© Р. Аллой, 2008

© Журнал «Звезда», 2008

© Я. Гордин, вст. статья, 2008

© В. Гусаков, худож. оформление, 2008

## ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

В одном из недавних писем Рада Аллой написала мне: «Собственно говоря (пусть это из текста не очевидно), но я-то знаю, что писала ее (книгу воспоминаний. — Я. Г.) в качестве длинного письма тебе — как будто ты просил меня вспомнить об Иосифе и я что вспоминала, то и писала. А вот теперь... я вспомнила разговор, который мы с тобой вели тридцать пять лет назад, вскоре после отъезда Иосифа. Ты тогда сказал: надо озаботиться раскрыть посвящения, все эти инициалы и прочее. А то потом будет не вспомнить. Я, в принципе, была с этим согласна, но все-таки спросила: ну а что дальше? Имя, отчество, фамилия. А потом — год рождения (а сейчас уже во многих случаях годы жизни), профессия? Какие-то жизненные характеристики? И ты, помнится, не нашел, что ответить».

Со времени этого разговора о Бродском написаны десятки книг и сотни исследований, раскрыты посвящения, прокомментированы детали его биографии, многократно интерпретированы его тексты. Но фигура Бродского остается не менее загадочной, что и тридцать пять лет назад. Очевидно, дело не просто в раскрытии инициалов и характеристиках окружавших поэта людей, а в улавливании тонких и сложных связей его со временем, которое реализовано в человеческих судьбах. А это требует таланта воспоминания, которым Рада Аллой обладает в полной мере.

Своими воспоминаниями она сама ответила на тогдашние собственные вопросы. И очень точно определила жанр — «письмо к посвященным». Неважно — я ли это, или кто-то иной, близко знавший Бродского и тогдашнюю жизнь вокруг нас.

Равно и название она выбрала парадоксально точно.

Иосиф Бродский — поэт трагического мировосприятия в молодости, в зрелости исповедовавший суровый стоицизм, — был тем не менее веселым человеком в кругу друзей. Контраст между экзистенциальной доктриной его поэзии и бытовым поведением создавал всю жизнь сопутствующую ему уникальную атмосферу — поражающую и привлекательную.

Эту особенность личности Бродского и уловила Рада Аллой, которую Бродский любил и которой доверял.

Рада Аллой пишет: «Мы были ровесниками, мы были на «ты», мы встречались в Париже, Риме и Нью-Йорке, дважды я была его confidentкой, он был шафером на моей свадьбе, навещал нас по всем адресам, что мы сменили в Ленинграде, я присутствовала в зале во время обоих над ним судилищ, переписывалась с ним, когда он был в Норенской, а 4 июня 1972 года провожала его в Пулковском аэропорту.

Но только вот: весь этот горделивый перечень ровно ничего не означает. Это простая цепь случайностей, и никакого, ни малейшего места в жизни Иосифа я не занимала. А он в моей, разумеется, огромную».

Здесь надо сделать два уточнения. Одно второстепенное — вряд ли Рада «присутствовала в зале» во время первого суда. В специально выбранную крохотную комнату пустили лишь несколько человек, формально представлявших Союз писателей, адвоката, Фриду Вигдорову с журналистским удостоверением и родителей Бродского. Остальные стояли на лестнице. Но это понятная aberrация памяти. Вообще же сила памяти Рады — поразительная.

Второе уточнение — принципиальное. Бродский был человеком, преданным своим друзьям. И, разумеется, Рада занимала свое место в его жизни. Но эта позиция — человека «из публики» — делает ее воспоминания особенно ценными, в силу того что она не подменяет собой главного персонажа. Однако и смотрит на него отнюдь не снизу вверх, несмотря на соответствующие декларации.

Рада пишет отнюдь не житие. Бродский у нее таков, каким он и был, — добрый и щедрый, резкий и несправедливый, твердо знающий свой путь и непоследовательный в оценках. Он мог, как вспоминает мемуаристка, скептически отзываться о замечательном поэте, но и назвать его через некоторое время «великолепным поэтом».

Рада Аллой занимает идеальную для мемуариста позицию — она не сливается с Радой тех лет, она видит картину целиком и со стороны.

Не столько нравственным, сколько интеллектуальным усилием она выводит Раду-мемуаристку за пределы воспоминаемых ситуаций, оставляя там юную Раду-участницу.

Этим объясняется сжатость воспоминаний, их концентрированность. Каждая деталь играет свою значимую роль.

Эта лаконичность тем более удивительна, что рассказ идет не только о Бродском, но и о времени. Веселом времени нашей молодости, когда неприятие окружающего общественного и политического быта не мешало интенсивному и достойному личному бытию.

Некоторые сюжеты, важные для общей картины, только намечены в воспоминаниях. Например, история литературного кафе на Полтавской, председательницей Совета которого была инженер Рональда Зеленова (великий организатор, по сию пору много делающий для нашей литературной культуры), а «хозяйками» — Рада и Ира Емельянова (которой посвящено пронзительное стихотворение Бродского «Крик в Шереметьево»).

В кафе появлялись и читали стихи самые экзотические личности.

Были и фигуры для того времени крупные. Я помню выступление Николая Панченко, москвича, с талантливыми и жестокими стихами о войне, которую он прошел.

Надеюсь, что когда-нибудь будет написана уникальная для советской эпохи история кафе на Полтавской.

Совершенно естественно Рада вводит в повествование второстепенных, казалось бы, по сравнению с главным героем персонажей — своего первого мужа Эдуарда Блюмштейна, которого ценил и уважал Бродский, второго мужа Владимира Аллоя, удивительную девушку Таню Боровкову, загадочный для комментаторов адресат «Памяти Т. Б.», Аллю Друзину, чьи инициалы стоят над одним из самых популярных тогда стихотворений Иосифа «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»), Олю Бродович, адресата ранней лирики Бродского... Но персонажи эти драгоценны, ибо Бродский в начале шестидесятых существовал в нескольких «дружеских пространствах», его человеческие связи были обширны и многообразны и отнюдь не исчерпывались близостью с тройкой так называемых «ахматовских сирот». Хотя эта дружба в то время была для него очень важна.

Воспоминания Рады Аллой возвращают картине широту и объемность, теряющиеся со временем, а внутреннее ощущение приема — письмо невидимому адресату — сообщает тексту необыкновенную естественность и легкость стиля, соответствующего доверительному разговору.

Для понимания того уникального явления, которое мы называем Иосиф Бродский, воспоминания Рады Аллой важны принципиально.





Начало 1960-х. Фото Б. Шварцмана

«Для человека частного...», но кто, кроме великих поэтов, может утверждать предпочтение этой частности какой-либо общественной роли? У человека же общественного, государева, человека шестидесятих годов, которые только ленивый не обзывал всякими нехорошими словами, заголовок немедленно вызовет в памяти название радиопередачи, которая выходила в эфир каждое воскресное утро под бодрый мотивчик. И лишь последние осколки стократно обруганной шестидесятичной интеллигенции опознают в этом названии свидетельство Марины Цветаевой об Осипе Мандельштаме.

На мой взгляд, оно очень подходит и к Иосифу Бродскому, о котором уже написано множество книг и диссертаций, монографии, воспоминания, эссе. Их авторы — собратья-поэты, поэты-соперники, критики, геологи, священники, музыканты, художники — пишут о человеке, каким они его знали. Книг — сотни, а знакомых у Бродского были, наверное, тысячи. И я бы хотела, чтобы все эти тысячи оставили каждый свое свидетельство, процитировали его слова, рассказали о его вкусах и пристрастиях — мне никогда не скучно и не надоедает читать про него! Конечно, всякий раз это будут совсем разные ракурсы, которые дадут искаженное отражение. Ну и что? В знаменитой притче про слона и слепцов каждый описал какую-то часть и счел ее за целое. И хотя мы знаем, что слон — это не толстая веревка и не большой лист, но и эти свидетельства тоже его как-то характеризуют. Да, ни один не охватил полноты объекта,

но ведь некую часть картины все-таки отразил, встроил что-то в нее, внес свой кирпичик, которого не доставало. Этот мозаичный подход механистичен и плох, как и всякий иной. А с другой стороны, именно фасеточное зрение обеспечивает стрекозе невероятную зоркость глаза!

Мой кирпичик рассказывает о человеке, который в течение десяти лет, вплоть до самой эмиграции, читал в нашем доме свои новые стихи. Весь его «барочный», как квалифицируют литературоведы, период: 1962–1972 годы.

Как известно, кошке не возбраняется смотреть на короля. Вот я и смотрела. Была внимательна к деталям, обладала цепкой памятью, бережно хранила письма и фотографии, была молчаливым свидетелем той части его жизни, в которую он считал нужным меня посвящать.

Мы были ровесниками, мы были на «ты», мы встречались в Париже, Риме и Нью-Йорке, дважды я была его confidentкой, он был шафером на моей свадьбе, навещал нас по всем адресам, что мы сменили в Ленинграде, я присутствовала в зале во время обоих над ним судилищ, переписывалась с ним, когда он был в Норенской, а 4 июня 1972 года провожала его в Пулковском аэропорту.

Но только вот: весь этот горделивый перечень ровным счетом ничего не означает. Это простая цепь случайностей, и никакого, ни малейшего места в жизни Иосифа я не занимала. А вот он в моей, разумеется, огромную. Если уж, по Милошу, явления Бродского в двадцатом веке «ничто не предвещало», то тем более ничто не предвещало появления его в моей жизни, которая к этому вовсе не была предназначена.

Тут можно вспомнить давний рассказ про 90-летнюю Яблочкину, ветерана сцены, которая спросила молодую актрису: «Галочка, говорят, вы вышли замуж! Кто же этот счастливец?» И услышав в ответ: физик, инженер, «а-а, — равнодушно протянула старуха, — из публики...»

Вот и я была «из публики» — не только когда Бродский стоял на сцене, но даже когда пил чай у меня дома. Он дружелюбно извинял мою бесталанность и умственную заурядность, милостиво прощал, когда я оказывалась не на высоте. Со мной ему не было нужды настаивать на своем интеллектуальном превосходстве: оно было очевидно. Ему не нравились только те, кто не хотел понимать и не хотел учиться: от этого все зло — считал Иосиф.

Совершенно очевидно, что эти заметки носят восторженный характер, полностью отражая мое к нему отношение. Если Татьяна Яковлева говорила, что встретила в своей жизни двух истинно гениальных людей, и одним из них назвала Бродского, то в моей жизни — это единственный настоящий живой гений, и я всегда, почти с самого начала знакомства, это понимала.

Наиболее адекватным образом наши отношения с Иосифом можно, думаю, сформулировать так: он ко мне всю жизнь снисходил, а я ему за это всю жизнь была благодарна. Такое положение вещей меня донельзя устраивало.

Что другое, кроме снисхождения, могла вызвать фигура, вышедшая, по выражению Мандельштама, из «бездны ИТР»? Именно радиоточка с ее «веселым спутником» была для меня первичным источником информации. Это уже потом вышли мемуары Эренбурга, с разбросанными на их страницах поразительными строчками неведомых поэтов, откуда такие, как я, впервые узнавали знаковые — в прошлом и будущем — имена.

Примерно в то же время выяснилось, что вся страна, во всяком случае молодежь, поголовно влюблена в поэзию, жадно ее поглощает и боготворит ее создателей. Конечно, я отдала дань «поэзии стадионов»: бегала на концерты Вознесенского, Рождественского и Евтушенко. Сборники Евтушенко 1950-х годов, «Третий снег» и «Шоссе энтузиастов», вошли в мою копилку, а сам он, когда стоял на эстраде, казался мне, семнадцатилетней, реинкарнацией Маяковского. Даже в огромные залы билеты достать было непросто — спрос сильно превышал предложение.

ние. (По какой-то длинной цепочке знакомых мне нужно было зайти за билетом к Татьяне Галушко, которую я не знала. Такой — молодой, белозубой, сияющей — я ее с тех пор и запомнила, стихи прочла потом и до сих пор скорблю о ее ранней кончине.)

Стихи тогда запоминались с лёта, с одного-двух прочтений, с голоса. В этой всеобщей эйфории нашли свое место и советские поэты: Луговской, Тихонов, Слуцкий, Мартынов. Теперь мне трудно оценить, какое количество стихотворных строк я знала наизусть, но было их много, и я любила собирать однокурсников у себя на «тематические вечера», посвященные всякий раз какому-то одному поэту. Большинство этих стихов, с упоением читанных вслух наизусть, я благополучно забыла, но и сейчас меня еще достигают воспоминания моих тогдашних слушателей, вгоняя меня в краску, — по их сведениям, я читала даже Елену Рывину, не могу себе этого представить, но не верить им нет оснований. Все это длилось, к счастью, недолго. Буквально из ниоткуда вдруг появились бледные машинописные копии или хрупкие тоненькие сборники 1920-х годов со стихами совсем иного рода: серебряный век, символисты, акмеисты, обэриуты — целый океан совершенно для меня новой поэзии, ни на что ранее читанное не похожие стихи.

И особым, новым опытом стало осознание того, что вот живы и здравствуют молодые люди, студенты, ровесники, которые стихи пишут здесь и сейчас, в моем городе. Их можно было послушать на многочисленных литературных объединениях — ЛИТО — при различных Домах культуры (Пищевой промышленности, Промкооперации, Первой пятилетки) и многих НИИ, куда прорывались без пропуска, по знакомству.

Еще через пару лет, в 1961 году, на Полтавской улице открылось «Кафе поэтов». Название было неофициальное, просто точка общепита, но очень скоро оно привилось. Кафе было одной из ласточек первой оттепели. Однако о том, чтобы позволить пустить на самотек такую затею, не могло быть и речи. Кафе, конечно, курировалось сверху. Но хотя бы поручено это было молодым людям, которые любили стихи, что-то слышали о пред- и пореволюционных заведениях такого рода и решили попробо-

вать осуществить нечто подобное на новой почве. Главным из этих энтузиастов был молодой физик, мой знакомый Алексей Шабанов. Так мы с подругой Ирой попали в члены этого совета. Это членство давало возможность не только присутствовать каждую неделю на поэтических вечерах, но и участвовать в составлении программ, приглашать тех поэтов, которые нам нравились. Конечно, мы чувствовали руку следящую, но она нас особенно не смущала, и по крайней мере в течение года-полутора никто не стеснял наших решений и не отменял их. Мы приглашали поэтов, которых слышали и выделяли на выступлениях в различных ЛИТО. Устраивали встречи в «Кафе поэтов» и с москвичами: Окуджавой, Виктором Боковым.

Без всякой рекламы (информация передавалась только из уст в уста) уже за час до открытия кафе у дверей собиралась очередь, почти что давка, и мы с Ирой получили тягостную обязанность впускать людей строго по количеству мест, отказывая остальным. Конечно, мы старались протащить друзей и знакомых, но было очень неприятно прекращать вход, запирает дверь изнутри, оставляя снаружи таких же любителей поэзии, как и мы, приехавших иногда с другого конца города. Нередко и самим приглашенным приходилось с трудом протискиваться к дверям, объясняя очереди, что она пришла послушать именно их.

На Полтавской перебивало много ленинградских поэтов и их поклонников. Почти от каждого остались стихи или хотя бы отдельные строки. Так, Герман Плисецкий накрепко сливается с его стихотворением «Памяти Пастернака», написанным сразу после похорон в Переделкине:

Поэты, побочные дети России!  
Вас с черного хода всегда выносили...

Олег Тарутин запомнился своим не лучшим, но очень смешным стихом, скоро превращенным Александром Дуловым в песенку:

Телепатия, ух, телепатия,  
У меня к тебе антипатия.

Трогательно искренне читала поэтесса Светлана Евсева первые же строки своего знаменитого плача:

Поэты умирают без любви.  
Любимые! Живите постоянно.

У нее было какое-то непетербургское произношение: она не редуцировала гласные, и от этого стихи еще резче запоминались:

Еще идет по улице московской  
та женщина, которую искал,  
которую не встретил Маяковский.

(Она тщательно выговаривала «которуюЮ» и «МаЯковский».)

Содержание наших телефонных разговоров превратилось в перечень адресов и дат: сегодня там-то читают такие-то: Герман Плисецкий в «Промке», Нонна Слепакова — в «Хлебопешке», Виктор Соснора — у горняков.

Все это отошло на задний план, когда в нашей жизни появился Иосиф, просто перестало быть интересным. На Полтавской он, кажется, читал всего один раз. Странно, но я совсем не помню, при каких обстоятельствах это кафе все-таки закрылось; иначе и быть не могло, но это произошло не в одночасье, а постепенно, или это мы к нему как-то охладели, но во всяком случае вскоре оно свое существование прекратило.

Иосиф был одним из трех подарков, которые уготовила мне судьба (два других — эмиграция и Париж). Хронологически он был первым и, может быть, главным. Все три точно датируются. И, как все истинные дары, они были восхитительно незаслуженными!

Ко всем этим подаркам я была на удивление мало подготовлена. Парижем бредила в детстве, но никогда его реальностью

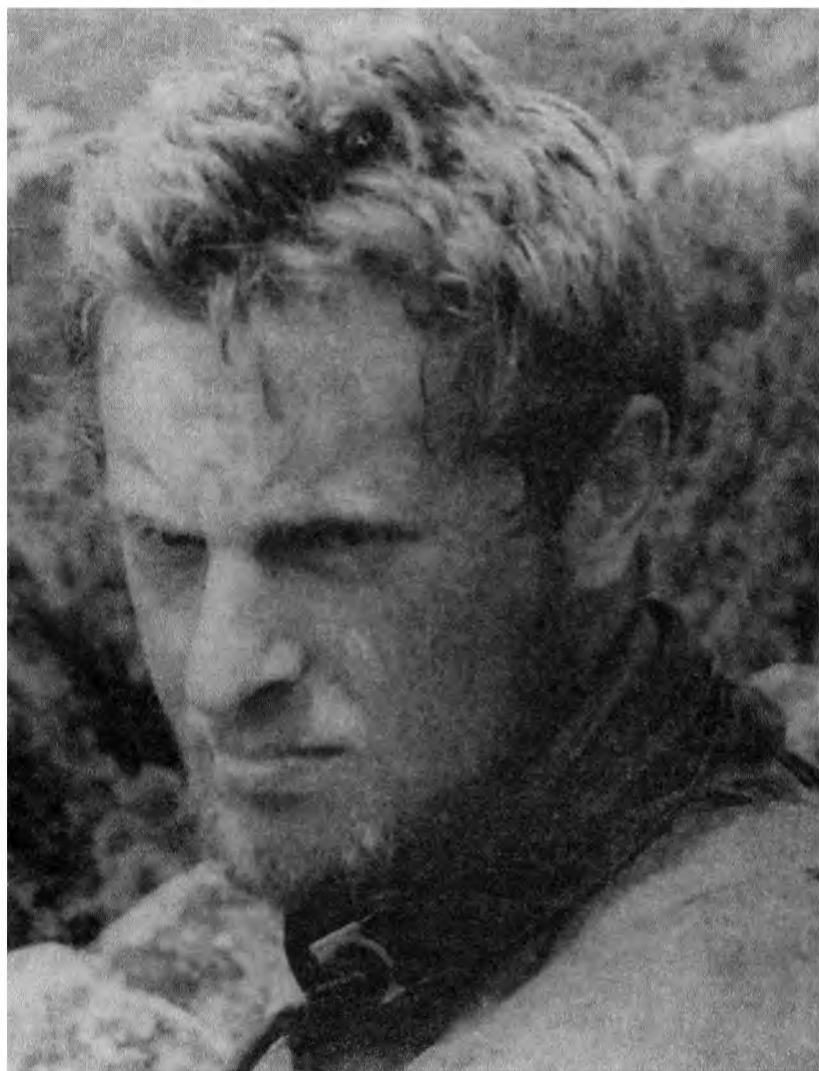
не считала: это был город д'Артаньяна и Сирано. О выезде за кордон вообще не было никакой речи. Но стихи-то? Стихов знала много, в двадцать лет любила их глобально, все сразу, все рифмы, все ритмы, все, имеющее отношение к поэзии, можно сказать — без разбору. Различение и ограничение, отсечение «лишних» симпатий пришли потом — в значительной степени благодаря Иосифу.

Главный подарок был мне преподнесен весной 1962 года (так же датирует свое знакомство с Иосифом и Лев Лосев). Так что «спутника веселого» мне привел не февраль, а апрель. Почти уверена и в числе — 20 апреля (плюс-минус один день, не больше). Тогда во Всесоюзном геологическом институте (ВСЕГЕИ), на Среднем проспекте Васильевского острова, был устроен вечер поэтов. (Меня удивило, что это мероприятие не отражено в составленной Валентиной Полухиной «Хронологии жизни и творчества И. А. Бродского».) Конечно, вечер нигде не был объявлен, но большой актовый зал института заполнился до отказа. Как я туда попала — совершенно не помню. Впрочем, как и на все подобные вечера; они были неофициальные, но слухи разносились молниеносно, и нужно было только прийти пораньше, чтобы почти наверняка попасть. А может, нам с Ирой помог наш «статус» в «Кафе поэтов».

Иосифа мне довелось слушать и раньше, на разных вечерах, например, за год до этого в Геологоразведочном институте — этот вечер всем запомнился из-за скандала, устроенного Львом Куклиным, — но впервые при таком количестве народу, в огромном зале, с настоящей сценой. Он выступал не первым и не последним среди двух десятков всходивших на трибуну, но только он один и запомнился, потому что состоявшееся в этот вечер знакомство затмило все остальные впечатления.

В начале вечера организаторы объявили о конкурсе на лучшую пародию на какое-либо здесь прочитанное стихотворение. Первый приз — билеты на «Орфей» (кажется, тогда был по-





В экспедиции. Начало 1960-х

ставлен такой балет, до журбинской оперы было еще далеко, а билеты в Мариинку были тогда большим дефицитом.)

Помню симпатичные строчки, написанные Борисом Стави-ским по поводу чьих-то виршей на рабочую тему (что-то про мостовой кран и его крюк), которые просто напрашивались на издевательское обращение:

Друг, друг, друг, не пиши стихов!  
Крюк, крюк, крюк для тебя готов!

Я тоже включилась в игру и что-то послала в президиум (не помню ни имя жертвы, ни подвергнувшиеся операции стихи, ни собственную придумку). Когда выступления закончились, были подведены итоги конкурса — билеты на «Орфея» достались мне. Обмирая от ужаса, отправилась на сцену, в первый и последний раз в жизни предств на всеобщее обозрение. И этот единственный случай эксгибиционизма обернулся главным подарком моей жизни.

Потому что в этом свете рампы Иосиф меня и заметил, и когда все начали расходиться и мы с Ирой стали спускаться по огромной всегеишной лестнице, Иосиф нас уже ждал внизу с другим молодым человеком, назвавшимся Эдиком. Вчетвером вышли мы из института и пошли гулять по набережной Невы уже в качестве добрых знакомых, как это бывает в двадцать лет. И здесь я получила от Иосифа свой первый реприманд! Потом-то их было много, но чтобы через полчаса после знакомства! И, главное, поделом. Разговор шел, конечно, о стихах. Сначала о только что вышедшей маленькой серой, «орловской» Цветаевой, в тот момент — и надолго — главной для меня книжке, которую я выучила всю наизусть и могла продолжить чтение с любой строчки. Потом — о делах сегодняшних: кто что где читает в разных ЛИТО в ближайшие дни. Я спешу поделиться информацией, вроде: завтра у Глеба Семенова читает Лена Кумпан. И вдруг слышу какие-то негодующие интонации, не сразу постигаю смысл, оказывается, это Иосиф мне выговаривает: «Ну как можно подряд, одними губами — Цветаева и тут же — Кумпан». Вот это «одними губами» мне запомнилось точно и навсегда.

Первой проводили меня — я жила практически на Дворцовой площади, рядом с Капеллой. Показала свою парадную, пригласила заходить в гости: «Адрес запомнить легко, — всегда говорили мы новым знакомым, — Мойка 18, квартира 27: дважды девять — трижды девять». В ответ Иосиф, на секунду задумавшись, произнес: «У меня тоже простой адрес — Литейный 24–28, четырежды шесть — четырежды семь». В тот момент мне не пришло в голову удивиться этому математическому подходу, уже потом Мария Моисеевна мне рассказывала, что от Иосифа можно было услышать «семьдесят процентов на сорок», или, получив рубль на хлеб и кефир, он озабоченно спрашивал: а мне хватит?

После смерти Иосифа, мысленно перебирая наши встречи, я вспомнила и про самое начало знакомства, про эти цифры, которые внезапно получили новое, горькое, значение: ведь это даты его жизни. 24 мая и 28 января...

А вот и еще примеры арифметической путаницы. Поскольку все стихи Бродского, начиная с 1962 года, я получала только от него самого и тщательно, соблюдая все особенности оригинала, их перепечатывала, то здесь не может идти речи об ошибке памяти: в моем собрании стихотворение «Так долго вместе прожили, что вновь...» носит название «Семь лет спустя». Наверное, потом кто-то из читателей-крохоборов или (почти анаграмма) доброхотов заглянул в «вечный календарь» и доложил, что 2 января приходилось на вторник в 1962-м и 1968 годах, то есть с интервалом в шесть лет. Так что отныне оно публикуется под названием «Шесть лет спустя», хотя даже в московский сборник «Часть речи» попало с прежним заголовком.

В письме ко мне из Норенской Иосиф пишет: «Сегодня 13 мая, а арестован я был 13 февраля. Никак не могу понять, сколько месяцев прошло: 3 или 4!»

В недатированном наброске автобиографии «Я хочу рассказать тебе о самом себе...» Иосиф пишет М. Б., что родился «там же, где и ты: в Ленинграде, почти на десять месяцев позже тебя», и чуть дальше: «тебе было уже почти десять меся-

цев, когда я впервые завопил, но ты этого не слышала, и я тоже о тебе ничего не знал. Понадобилось 22 года, чтобы мы познакомились». Эти «десять месяцев» — плод подсчета Иосифом разницы между июлем 1938 года и маем 1940-го! Сама М. Б. считала гораздо лучше. Однажды мы с ней говорили о бесстрашии Иосифа, его не показной, а внутренней независимости от режима, и она мне сказала: «Понимаешь, он почти на два года младше меня, так что когда Сталин умер, Жозефу еще не было тринадцати, а мне — почти пятнадцать. Это большая разница».

Стихи тогда запоминались мгновенно, тем более что все вокруг знали и упоенно скандировали все те же любимые строчки: «Когда теряет равновесие твое сознание усталое...» или «Прощай, позабудь и не обессудь...», «Теперь все чаще чувствую усталость...» и, конечно, «Пилигримов». Вообще, нас, выросших на словаре советских поэтов, помимо нутряного восторга от поэтического чуда, совершавшегося здесь и сейчас, поражала, даже у раннего Бродского, еще и его лексика. С воодушевлением открывали мы для себя какие-то нездешние слова: «Над утлой мглой столь кратких поколений...». «Утлый» — пришло прямо из Пушкина, теперь, казалось нам, подобные слова вообще упразднены! Он произносил слова, которые стены домов и дворцов советской культуры, думаю, слышали впервые: «Богоматери предместья, святые отцы предместья, святые младенцы предместья...».

Конечно, я и до знакомства с Иосифом неоднократно видела его на различных выступлениях, его нельзя было не заметить, настолько он отличался от всех других, читавших свои стихи. При его казавшейся поначалу нарочитой манере чтения, он производил впечатление человека исключительно, предельно естественного. Не помню, чтобы он хоть каким-то образом реагировал на нападки Куклина и иже с ним, по сути, он вообще не удостоивал таких людей дискуссией или ответами, но и это делал совсем не обидным образом.

До нашего знакомства бледные копии его текстов поступали ко мне от разных людей, передавались из рук в руки на поэтических вечерах. Все это отдельные листы и листочки: «Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы...», «Зачем опять меняемся местами...», «Памяти Феди Добровольского». Были там и эти два стихотворения: «Лирика» («Через два года...») и «Я как Улисс» («Зима, зима, я еду по зиме...»). С их адресатом я познакомилась несколько лет спустя, встречи были редкими, но отношения дружественными, мы поддерживаем их и сейчас. Много лет спустя в 4-й (Зимней) Эклоге Иосиф называет два дорогих ему имени, «произносимых с нежностью только в детстве и в тепле», ее имя стоит первым.

Познакомилась я и с Алей Друзиной (адресатом стихотворения «Письмо к А. Д.», которое он читал во ВСЕГЕИ) и была счастлива получить от нее поэмы «Гость» и «Петербургский роман», тут же, конечно, мною перепечатанные и размноженные.

Сначала Иосиф больше общался с Ирой, приносил ей стихи, свои и чужие, а она — мне. Так, от нее я узнала «Зофью» и «Шествие». Потом он и к нам с Эдиком стал приходить с разными листочками.

С тех пор я смогла получать прямо от автора все новые, только что написанные стихи. Так что ко времени отъезда Иосифа у меня скопилось большинство стихотворений 1958–1972 годов.

Наше знакомство пришлось как раз на пик популярности «Рождественского романса», в котором мне все казалось волшебным: и мелодия, и повторы, и даже посвящение «Жене Рейну, с любовью», именно «Жене» в моем экземпляре, не «Евгению». Стихов же Рейна я совсем не знала, как-то они мне не попадались, а имя его услышала впервые в связи со ссорой или даже дракой в Доме писателей на Воинова, когда его отправил в нокаут ленинградский поэт Марк Троицкий, высоченный красавец, любитель Синьяка и Александра Грина. Троицкому этот нокаут дорого обошелся: Иосиф не хотел читать его стихи и даже слышать о нем не хотел, лишь повторял обиженно и запальчиво: да-а, а зачем он ударил Женю?

Мне сложно передать впечатление, которое Иосиф тогда производил. Он, безусловно, было кем-то а part, очень от всех отличался. Но я не буду утверждать, что была в то время так прозорлива, что распознала его гениальность, его уникальное дарование. Я видела, что он «выламывался» из поэтического окружения, но, как это ни странно, для нас Иосиф входил пока еще не «в одне», а «в тыщу». Очень вскоре после знакомства Ира поехала с ним в Москву и, вернувшись, с удивлением мне рассказывала, какой прием оказал ему Алик Гинзбург (поместивший Осины стихи в своем самиздатском журнале «Синтаксис») — ее поразил пиетет, с которым отнеслись к Бродскому московские поэты и окололитературные люди, в большинстве старше Иосифа.

Однажды Ира пришла с новостью: «Знаешь, что Иосиф сказал? „В Раде есть что-то декадентское“». — «Ну и что это значит? Это хорошо или плохо?». — «Не знаю, — сказала Ира, — но он еще добавил: „И это ей идет“». Ну и ладно, я предпочла счесть это комплиментом.

Вскоре он начал приходить к нам довольно часто, один или с кем-то еще. Однажды дал мне телефон, где его искать: там живут такие близнецы — Маша и Инна, и протянул «Ма-а-шина». Так я познакомилась с сестрами Голынку, с которыми он некоторое время дружил — вместе и по отдельности.

В другой раз он был у меня с нашим общим знакомым поэтом, сидели за столом, разбирали его стихи, которые мне очень нравились, и я до сих пор многое помню наизусть. Я сначала следила за разговором, который касался одной из строчек, потом пошла в кухню, вернулась где-то через полчаса и выясняю, что они все еще рассуждают про эту строчку, правда, уже заканчивают. Завершил беседу Иосиф: я потому про эту строку говорю, что остальные никуда не годятся, а ее еще можно спасти!

Передавать реплики Иосифа я стараюсь повсюду как можно точнее. Все, что заключаю в кавычки, — помню дословно, но и остальное — очень близко к тексту, никакой отсебятины. Очень не хочется уподобляться тем воспоминателям, что на первом ленинском субботнике держались с вождем за одно

бревенно — по чьим-то подсчетам их оказалось двести пятьдесят человек. Поэтому все, что я сейчас вспоминаю, может быть подтверждено сохранившимися его письмами ко мне, записочками, шуточными стихами. Почти всегда я старательно привожу только те эпизоды, где присутствовали еще, кроме меня, и другие люди, которые тоже слышали те же слова, что и я, видели Иосифа в те же минуты и могут меня дополнить или поправить.

Вообще, как я сейчас вспоминаю, наедине мы виделись с Иосифом чрезвычайно редко, может быть, десяток раз. Так что, к счастью, у меня имеются свидетели, которые могут подтвердить мои впечатления, и это меня очень устраивает. Как правило, на наших встречах почти всегда был кто-то еще: либо мои подруги, либо мои мужья, либо М. Б.

Совершенно не помню, когда Иосиф привел ее к нам впервые, но прекрасно помню первое впечатление, вернее, удовлетворение ее видом, ибо, будучи безоговорочной поклонницей Цветаевой, тут же решила, что все правильно, как и быть должно: первый — на первой. Главный поэт и главная красавица. В тогдашнем Ленинграде не было недостатка в красивых девушках, они украшали собой громадный коридор здания Двенадцати коллегий, прогуливались в полном сознании своей красоты по Невскому или в фойе Большого зала филармонии. Гета Яновская, Лена Лазаретина, Лора Степанова, Ася Пекуровская... Но М. Б. отличалась особым типом красоты, пронизанной безмятежностью — может быть, это было следствием отсутствия мимики; лицо было всегда спокойным, не выдававшим никаких эмоций. Кажется, еще в то время я сформулировала для себя постулат: красивые женщины молчат, некрасивые разговаривают. Он оправдывает себя почти всегда. (Сейчас подумалось, что, может быть, именно эта формула отвечает на вопрос, почему нам до сих пор не представили мемуары ни Лора, ни Эра, ни Вероника, ни Мария!)

Бесстрастность, неподвижность внешности М. Б. притягивали взгляд, которому так хорошо было покоиться на этом лице, снова и снова описывать глазом его безупречный овал, любо-

ваться, как произведением искусства. Не случайно же никто, говоря о ней, никогда не пользовался другим определением, кроме «красавица». Как правило, восхищенные взгляды оставляют следы, и красавица, слишком хорошо знающая, что хороша, перестает ею быть. Но здесь другой случай: от лица М. Б. такие взгляды отражались, отскакивали, и лицо оставалось неизменно прекрасным, постоянно вызывающим новое поклонение, готовым для нового любования, и это было поразительно. Она не могла не знать о производимом ею впечатлении, но это осознание никак не сказывалось на ее поведении. Лишь однажды она мне сказала: «Знаешь, слово „мадонна“ мне кажется уже полуприличным». Отсюда ясно, хотя это и трудно представить, насколько этот комплимент ей надоел. Можно понять человека, которому такое сравнение беспрестанно повторяют. Я ни в каких мадоннах М. Б. не узнавала — во-первых, немного их и видела, а во-вторых, любила северные лица: например, у Мемлинга. А М. Б. была темная шатенка с безукоризненным овалом лица. Только совсем недавно, в этом году, на выставке Фердинанда Ходлера я вдруг увидела портрет, написанный в 1917 году, «Гертруда Мюллер в саду». С него смотрела на меня двадцатилетняя М. Б., на портрете было точно такое лицо, какое осталось в моей памяти.

Будучи, стало быть, красавицей, она, согласно моему постулату, говорила очень мало. И очень тихо, буквально как-то шелестела, правда, и не настаивала, если ее реплику никто не расслышал. Яша Гордин еще помнил начало этого романа и рассказывал мне, что тогда Иосиф даже прикрикивал на М. Б.: «Говори громче!» Но я ничего подобного не застала — в мое время (всего через полгода) он был уже полностью покорен и готов весь обратиться в слух, если она что-то произносила. Но это, повторяю, было редкостью. Иногда они все же обменивались между собой короткими репликами, и то сказать — трудно было, наверное, вести пространные беседы на том языке, которым они, как правило, пользовались. Язык был кошачьим: какое-то мурлыканье, мяуканье. К кошкам я была совершенно равнодушна, и это кошачье общение — шипение и легкое посви-





В ссылке. 1965. Фото А. И. Бродского

стывание — меня только смешило, и я не верила, что таким способом можно передавать информацию. Они, однако, умудрялись. Друг друга они наделили специальными кошачьими именами. М. Б. была мисс Мэри Мур, изящная леди, а Ося — Джозеф О'Кисс, отважный мореплаватель и автор поэмы «Встреча со шхуной 'Etc'...». Шхуна эта была приписана к порту Kisstown, штат Moogyland, но всегда обреталась anywhere in Pacific. Иногда он так и подписывал свои записочки к нам.

В качестве хозяйки дома я по первости стремилась как-то занимать М. Б. Но мне это не удавалось — все попытки натыкались на ее вежливое равнодушие.

Обычно М. Б. сидела в сторонке, дважды обвив одну ногу вокруг другой, и что-то чертила или рисовала в маленьком блокнотике. Никогда не принимала участия в общем разговоре и никогда нарисованное не показывала, хотя я поначалу просила. Потом перестала и лишь любовалась ею, от чего никогда не уставала.

В конечном счете я так толком и не видела ее работ. Помню, однажды они с Иосифом отправились глядеть салют — потому что ей нужно было его изобразить в иллюстрации к детской книжке. Может быть, как раз к той, что у меня сохранилась: стихи Майи Борисовой под названием «Восемь весенних песенок» с иллюстрациями другой М. Б. Здесь действительно одну из восьми, «Песенку первомайского флага», сопровождает вид салюта на Неве. А на последней странице обложки изображен настоящий О'Кисс, великолепный котяра с пышными усами и большой белой манишкой. Но — повторяю — ни графических, ни живописных работ ее я не знаю, не знаю, как сложилась ее судьба за последние тридцать лет и вообще не знаю, о чем она думала и что исповедовала. Твердо знаю одно: М. Б. была адресатом лучшей любовной лирики в русской поэзии второй половины XX века, и это неотменимо.

Систематизировать стихи и сверять варианты мне всегда нравилось. В августе 1964 года я послала Иосифу в Норенскую очень, на мой сегодняшний взгляд, нахальное послание:

«Ося, это чисто деловое письмо: пожалуйста, вставь в эти стихи пропущенные строки и даты, разборчиво как только сможешь. И еще датировь такие стихи: <идет перечень шести стихотворений>. Очень тебя прошу, сделай это скоро».

Ответ я получила на оборотной стороне листа: «Рада, миленькая, это ужас — то, что ты мне предлагаешь сделать. К тебе каким-то образом попали мои черновики 3—4-летней давности. Это все не стихи, никуда их, ради всего святого, не вставляй». И дальше: «Вообще же — надо бы не возвращать тебе эту бумажку». Тем не менее — вернул, все даты проставил, хотя некоторые и под вопросом, да еще разукрасил мое письмо птичками, крылышками и своим профилем. Больше всего мне понравились слова «каким-то образом попали». Ведь нельзя же было признаться, что пока Иосиф томился в ссылке, моей сообщницей стала Мария Моисеевна! Она, видя мое страстное отношение к стихам сына, отдавала мне найденные ею черновики, варианты, отброшенные и так неожиданно для Иосифа всплывшие на поверхность куски.

К бумажкам, автографам, черновикам у меня всегда было благоговейное отношение. Вечно я просила, ныла: оставь да оставь, и Иосиф знал, что сохраню, сберегу, если нужно — размножу, если нужно — спрячу до лучших времен. Вот, например, смешная деталь, в стихотворении «Письмо в бутылке» я, по Осиной просьбе, заменила точками строки:

Адье, сказавший: «Терять, ей-ей,  
ничего, кроме своих цепей.  
И совести, если на то пошло.  
Привет тебе, старина Шарло».

А потом, когда «стало можно», впечатала эти строки прямо поверх точек. Вот сейчас на это смотрю и вспоминаю, а то бы забылось. (В издании 1983 года эти строки чуть изменены по сравнению с первым вариантом.)

Все эти годы вплоть до отъезда Иосифа я собирала его стихи, в конце концов набралась большая кипа листов, которые я

старалась как-то классифицировать (опубликованные, детские, «на случай»), по возможности датировать, не упуская ни одной бумажки. Черновики, разночтения, варианты — все это было для меня равно ценным и равно великим. Когда удалось уговорить Иосифа просмотреть это собрание, он включился довольно активно, делал какие-то поправки, проставлял даты (хотя в большинстве случаев помнил их нетвердо), и он вовсе не был против сохранения отброшенных им для белой рукописи вариантов.

Рядом со стихотворением «Дорогому Д. Б.» вывел лапидарное распоряжение: «Выкинь», тогда как «Элегия и стансы к Дмитрию Бобышеву» избежали этого аутодафе. Не снял и посвящения ему в стихотворении «Наступает весна» (утратил бдительность?). Еще Иосиф поставил инициалы И. Е. под заглавием «Крик в Шереметьево», отметил, что стихотворение 1963 года «Деревья окружили пруд» написано для журнала «Костер», безжалостно, крестом, перечеркнул стихотворение «Вдоль темно-желтых квартир», зачеркнул название «Белая грива» и заменил на новое: «Ломтик медового месяца», исправил «Румянцевой» на «Румянцовой» и так далее.

Внимательно проверил, чтобы «М. Б.» было везде. В примечаниях я поместила один из вариантов «Загадки ангелу», первую редакцию, так он и туда вставил эти инициалы, которые, конечно же, в основном тексте были, но он не потерпел, чтобы даже в черновиках были забыты заветные буквы. Добавил это посвящение и к стихотворению «Как тюремный засов...». Стихотворение «В один из дней, в один из этих дней...» имело раньше название «Гвоздика», Иосиф его зачеркнул и поставил лишь неизменное М. Б. Инициалы, принадлежащие героине любовной лирики Иосифа, еще ведь часто служат аббревиатурой вероятности, неуверенности, неопределенности. Похоже, что Иосиф это значение обыграл тоже, цитируя слова Рабле в «Письме в бутылке» про великое «Может Быть».

Просматривать и листать собранные стихи он начал с энтузиазмом, но потом устал (листов было слишком много). Закончив это занятие, взял какой-то Эдькин бланк — с результатами

пробы базальта с левого берега реки Амгунь — и крупно вывел на обороте:

Пусть послужит данный том  
завереньем, данным в том,  
что питомец сочных муз  
ищет с вами прочных уз.

Как-то я ему сказала, что уже целый год знаю наизусть такое-то его стихотворение, но вот только сейчас поняла, про что оно. Иосиф меня успокоил: правильно, это совершенно нормально. Я приняла эти слова за чистую монету и сделала совершенно неверный вывод о том, что разрыв между услышанным и осознанным у меня всегда будет составлять какой-нибудь год, к такому ожиданию я была готова. «Каково же было мое удивление», когда оказалось, что с каждым новым стихом разрыв между написанным и понятым увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии. Многие последующие стихи я начала понимать лишь через три, пять, а потом и десять лет! То есть теперь я осознаю, что вообще просмотрела переход Иосифа в другое измерение, куда мне уже совсем не было доступа.

Однажды я зачем-то зашла на Пестеля и застала у Иосифа двух человек, которые, как мне показалось, были похожи друг на друга: оба невысокие, черноволосые, стройные. Один из них был Анатолий Найман, которого я знала с виду, слышала выступления на ЛИТО. (Запомнился один эпизод, кажется, это было в ЛГУ. Руководитель ЛИТО, некий Наумов, несколько раз прервал фамилию, называя поэта «Нейман», и Найман его спокойно поправлял, но в очередной раз не выдержал и сказал: «Найман, товарищ Неумов»). Знала я наизусть и несколько стихотворений Наймана, например, прекрасные длинные стихи «Дожди» («Как уехали, так и ждут...») с удовольствием декламирую до сих пор.) Про другого Иосиф будничным тоном сообщил: это мой итальянский переводчик. Конечно, он назвал и имя, но я не запомнила, так была ошеломлена. Итальянский переводчик! Тут я впервые поняла, что Иосиф давно уже живет в большом мире, в то время как мы, его читатели и поклонники, остаемся на Малой земле.

Многие стихи не понимаю до сих пор и, боюсь, уже не пойму никогда. Хотя сам Иосиф объяснял с удовольствием и был готов отвечать на любые вопросы. Так, он подробно объяснил Ире посвященное ей стихотворение «Крик в Шереметьево», иначе мы бы не поняли, о какой «веселой и страшной девочке» и ее «кумашном платочке» там идет речь. Как ужасно я жалею, что мало спрашивала, а ведь могла бы, могла прямо записать авторский комментарий ко многим и многим вещам...

Я имею в виду не лексику — значение любого непонятого слова можно, в конце концов, узнать из словаря, а его переносное значение может объяснить другой, более продвинутый человек. Тут вспоминаю смешную историю. Я часто читала стихи Иосифа вслух, особенно под шум пылесоса или полотера. С чувством, подражая записи, скандировала:

Но, как это бывает в мире спорта,  
Он из офсайда забивал свой гол.  
Офсайд был ночью...

Я смутно помнила, что это какой-то футбольный термин, поэтому вдруг спросила (хорошо, что не Иосифа, а Эдика): отчего же это офсайд был ночью? Эд опешил, прежде чем показать мне всю бездну моей непорочности.

Много позднее мы с Володией и Дитой целый час, наверное, предъявляли друг другу, с удовольствием и воодушевлением, свое понимание последних строк «Летней эклоги»:

и снаружи шумит густая,  
еще не желтая, мощь Китая.

И еще гораздо позднее мы с Ирой устроили бурное обсуждение, уже по электронной почте, на тему «Образ пустыни в стихотворении „Письмо в оазис“».

Не говорю о метафорах, об аллюзиях — их понимание в конце концов приходит при внимательном чтении, при обдумывании. Но некоторые стихи я так и не могу понять, совсем не обя-

зательно поздние. Мечтаю, например, чтобы кто-нибудь из тех исследователей творчества Бродского, чье мнение я уважаю, взялся объяснить мне даже не смысл, а содержание изумительно красивого стихотворения «Загадка ангелу». Конечно, я его знаю наизусть уже 46 лет, но не понимаю абсолютно! От чьего лица идет рассказ? В чьем напряженном взоре маячит море, разрезанное окном? Кто «бродит в темноте по пляжу» — тот ангел, что «давит устрицы в песке»? О какой краже предупредит угод? Кто задает ангелу загадку и в чем, собственно, эта заглавная загадка состоит? В третьей строфе, которая являет собой одну-единственную фразу со сложным, но все же вполне распутываемым синтаксисом, — я, к сожалению, не понимаю просто ничего. Так что это такой себе сигнал SOS: кто может помочь — отзовитесь!

Как я сейчас завидую американским студентам Иосифа, читая воспоминания о его семинарах! Именно о таком менторе я мечтала всю жизнь. И вот, оказывается, он долго был совсем рядом, доступный для вопросов, а я тогда вообще «не умела спросить» (как «четвертый сын» из пасхальной Аггады), а потом узнала себя в письме Сенеки Луцилию, где он говорит о собаках, что ловят на лету кусок хлеба или мяса, а поймав, «сразу заглатывают целиком и снова разевают пасть в надежде на будущее». Так же и мы, — пишет Сенека, — если «фортуна что и бросит нам, насторожившимся в ожиданье», — мы это немедленно проглатываем и «снова стоим, наострив уши и готовые схватить». Ну в точности, как я! Всякий раз при встрече с Иосифом просила почитать «новое», как будто прежнее было исчерпано, а не просто мною проглочено и выучено наизусть. Правда, прослушав новые стихи, я нередко проникалась жалостью к себе вчерашней и всем прочим людям: как это мы жили в мире, где этих стихов не было, где они не существовали, пока их не вызвал к жизни — совершенно непостижимым образом — вот этот мой сегодняшний гость.

Несколько лет после свадьбы нам с Эдиком пришлось скитаться по съемным квартирам. Сначала жили в центре, непода-



Рада Аллой в гостях у Марии Моисеевны. 1970-е.  
Фото А. И. Бродского



леку от Иосифа: то в Артиллерийском переулке, то на улице Фурманова. Одна крохотная, но очаровательная квартира принадлежала симпатичному мальчику Коле Смирдину, потому что знаменитого книгоиздателя. наших гостей, в том числе Иосифа, поражало ее необычное убранство: там была шведская стенка, ломберный столик с зеленым сукном и большой шкаф с зеркалами не только на дверце, но и на обоих торцах!

В то время, в 1960-х, жители центра понемногу разъезжались, строили кооперативные квартиры и оказывались на окраине и без телефона, так что трудно было договориться о встрече. Мы тогда снимали комнату далеко, в Автово, на улице Возрождения, посему именовались «друзья с улицы Ренессанс». Досадно было, проехав полгорода, найти комнату запертой. Тогда Иосиф оставлял у соседей записки. Вроде: «Марина и я, ваш Иосиф, были у вас, вас не застали. Передаем вам привет. Когда бы нам зайти, а? Я по утрам дома». И рисуночек: лодка под парусом, волны, камни на берегу. В другой раз в рифму: «Были у вас, но не застали. Alas». Под подписью нарисован череп и под ним скрещенный с костью молоток.

Я прекрасно понимала, что не от хорошей жизни Иосиф посещает наш дом, просто это было одно из немногих мест, где он мог провести вечер с М. Б. Ведь речь идет о Ленинграде шестидесятых годов, где человеку без денег податься было некуда. Точно так же все время ссылки Иосифа мы были «дуплом» для передачи писем М. Б., и это слово в нашей с ним переписке повторялось неоднократно.

Без телефона мы жили и в построенном на Голодае кооперативе, договориться о встрече было трудно. Но гости приходили каждый день, так что Иосиф, как правило, заставал у нас наших друзей, по большей части геологов. Геологи были самыми свободными из несвободных советских людей, особенно во время полевых сезонов. Эта свобода передвижения хотя бы в узких пределах очень манила и соблазняла Иосифа. Думал ли он, что ему предстоит объездить весь мир? Пока что Иосиф очень завидовал моим экспедициям на Курилы, Камчатку, в Среднюю Азию, на Белое и Баренцово море: биологи тоже не были об-

делены такими радостями. Но почему-то именно к геологам в стране относились с особым пиететом, который усиленно поддерживало радио всеми этими шлягерами: «...держись, геолог, крепись геолог», над которыми сами геологи откровенно издевались, — это был такой же официоз. Помню, Эдик привез откуда-то плакат, вызывавший гомерический хохот: «Советские геологи! Быстрее овладевайте богатствами нашей родины». (Кажется, в ходе перестройки этому лозунгу наконец вняли, но отнюдь не геологи, и таки быстро овладели.)

Геологов в дом привел, конечно, Эдик, но среди наших гостей были не только они. Мои подруги занимались физикой, математикой, историей, языками, да мало ли чем. Иногда Иосиф находил у нас интересного для себя собеседника, но мог, конечно, и окрыситься на ни в чем не повинного человека и велеть ему замолчать. Было и такое. Но бывал и исключительно мил. Новые люди его нисколько не смущали, он охотно читал стихи, а потом принимал участие в застолье.

Говорили, главным образом, о книгах, о фильмах. Помню некоторые реплики Иосифа. Например, он посмотрел «Нюрнбергский процесс» и восхищенно цитировал ключевую фразу: «Во имя чего уцелеть?» А однажды требовательно спросил у моей подруги Наташи (адресата стихотворения «Живу без любви к вокзалам»): «Ты посмотрела наконец „Пепел и алмаз“?» — «Да». — «Ну и?» — «Слишком поздно». Иосиф согласился с тем, что этот фильм, вышедший в 1958 году, в 1965-м уже не может произвести такого впечатление, какое осталось некогда у него.

В другой раз Иосиф с порога заговорил о «Комедиантах» Грэма Грина, которые только что прочел. Особенно его впечатлила сцена в гостинице, когда отряд тонтон-макутов капитана Конкассера угрозами и побоями довел Брауна до того, что тот от страха обмочился и с него капало на пол. Вообще, это было время трилогии Фолкнера и нашей с Наташей влюбленности в Гэвина Стивенса, которую Иосиф нам понимающе прощал. Как-то у нас зашла речь о любимых фразах из книг, и я назвала реплику Гэвина в адрес Флема Сноупса: «Вы такой же, как я — вам наплевать на истину, вам дороже всего справедливость!»

Иосиф ее не помнил, но очень одобрил. Сам-то он обожал «Тристрама Шенди» и передал это нам. Уверял, что чтение Стерна «доставляет физическое удовольствие». (Точно теми же словами он потом говорил о Риме, о прогулках по нему. Прекрасно помню: «...гулять по Риму значит испытывать физическое удовольствие».)

Когда мы были вчетвером, вечер обычно проходил так: М. Б. сидела и штриховала листочки, я мучилась от сознания собственной бездарности, а Эдик с Иосифом говорили о политике. По Осиной характеристике, Эдик был «чемпион of political news, of geological views». Не спорили, ибо спорить не было оснований — стояли они всегда на одной позиции: не принимали советскую власть ни в какой ее ипостаси, что во времена первой оттепели было повсеместным явлением.

Но зато часто развлекались. Пили очень немного, любимого впоследствии виски не было и в помине, водкой не увлекались. Главным напитком был, конечно, чай, но иногда у нас оказывались полусухие грузинские вина — где-то их доставала моя свекровь: тетра, твиши, киндзмараули. Попеть Иосиф тоже иногда любил, но в жизни я не слышала от него про рябину: рассказывают, что про нее он пел потом, в Нью-Йорке, в «Русском самоваре». У нас он распевал, всегда с большим чувством «На Тихорецкую состав отправится» или песни Глеба Горбовского: «Он вез директора из треста», «Когда качаются фонарики ночные», «На диване в ямочке». Или еще собственные переделки, вроде:

Живет моя отрада  
В высоком терему.  
Живет в Эмпайр-Стейт-Билдинг,  
А я попал в тюрьму...

Или:

Он был полицейский чиновник,  
она — уголовника дочь.  
Он с ней захотел объясниться.  
Она была тоже не прочь.

Помню, как в один из вечеров устроили соревнование — кто вспомнит больше американских штатов. Первые два десятка шли легко — и Эдик, и Ося называли их наперебой. Потом дело начало стопориться — прежде всего нужно было твердо помнить, какие уже были названы, что было непросто. Мы с М. Б. призывались в качестве свидетелей, но были не слишком надежны, хотя бы потому, что болели за разные лагеря! В конце концов решено было начать все сначала, но уже записывая. Такой повтор был выгоден для Иосифа, поскольку Эд успел уже назвать явно больше штатов, а тут его фора нивелировалась и Ося получал возможность воспользоваться чужими находками. У меня потребовали бумагу и два карандаша. Все равно — приходилось все время пересчитывать количество штатов, записанных в каждый листок, чтобы определить лидера. На пятом десятке игроки уже вообще вошли в раж, и только и слышалось: «Дакота — разве только Северная? Нет Южной Дакоты?», «А Вирджиния — если есть Западная, то должна быть и Восточная?», «Округ D. C. считаем? — Нет, он никогда штатом не числился. — А Гавайи?» Айдахо, Огайо, Айова — оба путались в этих почти омонимах, но страшно веселились. Прекрасно помню, что победу одержал Эд — к вящему моему удовольствию.

Если Надежда Мандельштам пишет в своих воспоминаниях, что иногда «Осип развлекал нас газелями», то наш «Осип», когда был в хорошем настроении, декламировал свои катрены, вроде:

Все заснуло в утомленьи.  
Южный Крест повис на ноке.  
Коренное население  
Гонолулу — гонококки.

Часто мы засиживались допоздна. Однажды, когда уже транспорт перестал ходить, Иосиф пошел провожать мою подругу Людочку, которая тогда работала в Государственном архиве, в здании Сената и Синода, и жила там же. Когда они дошли до Невы, мосты были разведены и пришлось ждать на набережной. Люда очень нервничала, как бы завтра не проспять на работу, поскольку в учреждении были строгие правила, опоз-

дания не допускались и неукоснительно наказывались, и тогда Иосиф прочел ей целую лекцию о том, как не надо бояться: непосредственного начальства и власти вообще. Эта речь произвела на Люду огромное впечатление, и она мне ее с воодушевлением пересказывала. В свою очередь, Иосиф явно оценил такую слушательницу, потому что в следующий раз с восхищением отозвался о Люде: «Замечательный человек». Подробностей его речи я уже не помню — надо спросить у самой Люды, которая, слава богу, жива и здорова и теперь работает в Эрмитаже, но с тех пор мы ее дразнили, требуя дать ответ на какой-нибудь сложный вопрос: «Ты, которая провела ночь с Бродским...»

Излишне говорить, что в отношении истинных подружек Иосифа мы ничего подобного себе не позволяли. Да и знала я их не много, с полдюжины. Эта выборка недостаточно репрезентативна, чтобы составить типовой портрет его пристрастий. Конечно, ему нравились светлоглазые блондинки (как заявил мой племянник: ну они всем нравятся!), но вот, например, в Париже я знаю одну яркую плотную брюнетку, которой Иосиф тоже однажды обещал руку и сердце. Все девушки, которых я знала, были по-разному, но очень красивыми. Уверена, что и все те, кого я не знала, тоже были красотками, других он просто не замечал. Как-то к нему пришла одна юная знакомая, жаловалась на свои неурядицы, и в ответ, как рассказывал потом Иосиф, он погладил ее по голове, объяснив мне: «Больше я ничего не мог для нее сделать — по причине некоторого носа...» О другой молодой и, на наш взгляд вовсе недурной, девице он коротко отозвался: «Крыска», это было явно несправедливо, но прилипло, тем более что рифмовалось с ее именем.

Донжуанский список Бродского достаточно внушителен, чтобы к нему еще что-то присочинять. Как, например, в статье по поводу стихотворения «Памяти Т. Б.», где я встретила упоминание о героине как о «близкой поэту женщине».

На самом деле, Татьяна Боровкова, Тата, была близким человеком не поэту, а нам — мне, Ире и еще двум нашим одно-

классницам, с которыми мы в школе изготовляли журнал «Возмутитель спокойствия», заполняя его своими опусами, в рифму и без. Эти тетрадки, кажется, еще до сих пор хранятся у Иры. Тата была на год младше всех нас, очень существенно в этом возрасте, так что когда к восьмому классу мы все охладели к журналу и занялись другими делами, у нее еще хватило энтузиазма практически одной создать несколько последних номеров — поскольку прекрасно рисовала, рифмовала, сочиняла и оформляла. Ее многочисленные таланты мы, впрочем, как следует оценили уже потом, после школы. Она закончила восточный факультет ЛГУ, раньше всех защитила диссертацию, в двадцать лет провела несколько месяцев, а то и год, в Йемене, в селе, где несла бремя белых — даже роды случалось принимать. Оттуда она привезла портативный магнитофон — вещь, невиданную тогда в нашей среде, и пишущую машинку с чудным округлым шрифтом и двуцветной черно-красной лентой, предмет восхищения Иосифа. (На ней напечатаны многие из его стихов в моем собрании. Своей машинки у меня никогда не было, все листки сделаны на разных одолженных — Таткина машинка сразу выделяется.)

Жила Тата в огромной академической квартире на Мойке, 16, с венецианскими окнами, смотревшими на Зимнюю канавку. Отец, тюрколог А. К. Боровков, член-корреспондент АН СССР, скоропостижно скончался в 1962-м, мать — высокая, очень худая женщина — лишь изредка выходила из своей комнаты, но я ее отлично помню, поскольку она класса до шестого водила Тату в школу и обратно: ходу было метров пятьдесят и даже дорогу не надо было переходить, это нас очень веселило, и над Татой мы издевались.

Именно с Татой связано мое первое живописное впечатление. Дело было на уроке рисования, в четвертом, что ли, классе. На столе стоял букет тюльпанов, все мы усердно писали натюрморт. Что до меня, я очень старалась, наверное, даже язык высовывала. Зато и получилось загляденье: предельный реализм, каждая жилочка на листиках, каждая тычинка в цветке. Получила заслуженную пятерку. Учительница перешла к сидевшей рядом Тате, и тут я увидела ее рисунок: он ни в

какой мере не передавал, на мой взгляд, того, что было велено рисовать! Там вообще не было линий — только цветные пятна, только общая форма вазы и букета. И ей тоже пятерка! Что же это делается? Да, от ес рисунка глаз нельзя было оторвать (прекрасно помню его и посейчас), но это же неправильно нарисовано! Что же такое живопись? Что такое искусство?

Один из братьев Таты, Саша, стал архитектором, его акварель, вид Пскова, и сейчас висит в моей парижской квартире. Другого брата не видела никогда, кажется, он жил в Ташкенте, хотя, наверное, учился в Ленинграде — помню какой-то газетный фельетон в «Смене» по его поводу, где о нем писали: «...юноша с громким именем Спартак и скромной фамилией Боровков».

Комнат в этой огромности было всего две, но гигантские. Бывший кабинет отца, который перешел к Тате, был, наверное, метров пятьдесят, а в высоту метров шесть. Кухня немногим меньше, и даже ванная — величиной с танцкласс. Поразил меня однажды Таткин рассказ о том, как она, разбирая в квартире завалы, обнаружила комнатку! Маленькую, но настоящую, с отдельным входом и зарешеченным окном, выходившим в соседний двор — двор моего дома на Мойке, 18.

Отдельные квартиры считались тогда роскошью, а жившие самостоятельно ровесники были настоящим раритетом. Танина же «хата» была просто из ряда вон выходящей. Там мы с Эдиком прожили осенью 1965 года несколько месяцев, пока искали комнату. Помню недалний переезд: нужно было проволочь какую-то мебель из нашего двора, а, выйдя на набережную, завернуть в соседний подъезд. Как раз тогда к нам случайно зашли Иосиф с М. Б. Она своим художническим взглядом восторженно оценила ситуацию: «Обожаю мебель на улице!» А Ося подключился к переносу шкафа, оказавшегося ужасно тяжелым, и через несколько минут вскричал: «Подождите, Радка лагается!» Тогда я про себя отметила, что вот не мой собственный муж, а именно Иосиф понял, что ноша мне не под силу...

Когда мы переселились к Тане, то, естественно, перезнакомили ее со своими друзьями и нередко устраивали веселые

сабантуи. Для одного из таких вечеров Боря Рубинштейн сочинил очень смешные куплеты, которые мы распевали еще долгое время потом, а вот теперь они как-то забылись, остались лишь отдельные строчки. Может, что-то помнит его тогдашняя жена Наташа Альтварг.

В этом же доме я один-единственный раз слышала специально по случаю написанный Иосифом «водевиль», который назывался «Дамы и гусары». Весь водевиль исполнялся одним лицом — автором, который то читал монологи, то пел «арии», по тетрадке, которую мне в тот вечер не удалось выцыганить и больше не суждено было увидеть. М. Б., которая неизменно обещала «поискать», «посмотреть», так своего обещания и не выполнила. Помню только арию на мотив «Скатерть белая» и в ней строчку про гусаров: «Лишь один не спит. Пьет sake». Может, когда-нибудь рукопись все-таки найдется, это было уморительно смешно, но, к сожалению, с голоса я всегда запоминала хуже. (Сейчас вспомнила Осин рассказ про Максима Горького, к которому пришел молодой поэт и прочел свои стихи, звучавшие так: «Танки, танки, танки, танки, танки». Горький пожевал губами и сказал: «НеплохО. ХОРОшо бы почитать глазами».)

Когда наше пребывание в Таткиной квартире закончилось, они с Иосифом стали видаться реже, но все же не раз пересекались у нас в гостях — и пока мы с Эдиком скитались по съемным комнатам, и тем более потом, в новеньком кооперативе на Голодае. Первый же их совместный визит туда пришелся на новоселье и оказался для меня достопамятным. Народу было много, я сновала меж гостями и не заметила вовремя преступный сговор двоих из них, а именно Таты и Иосифа: пока все восхищались большой лоджией, выходящей прямо на залив («Восьмой этаж! Какой пейзаж!»), будущему нобелевскому лауреату и известному тюркологу захотелось понаблюдать за свободным падением с этой высоты разнообразных предметов. Не успела я вмешаться, как Ося схватил полное мусорное ведро и опрокинул его с лоджии вниз! Не все отходы долетели до земли — часть их повисла на деревьях на уровне третьего этажа, куда как раз выходили окна председателя нашего кооператива и парторга ВСЕГЕИ. Я была вне себя от ярости, а виновники только хохотали и наслаждались своей выходкой.



Несколько раз мы заходили к Тате на работу, в Институт востоковедения. Однажды Иосиф пришел ко мне в ЗИН, сказал, что ему нужно зачем-то видеть Тату, и я пошла его проводить, благо рядом. Внизу мы попросили вахтера ее позвать, а он забеспокоился: что случилось? Оказалось, я так и не сняла белого халата, в котором работала, и была принята за врача. А случилось через полтора года...

Когда Тата погибла, я позвонила Иосифу, сказала про место и время похорон на Шуваловском кладбище. Наверное, я не сумела внятно объяснить или они с М. Б. заблудились и пришли, когда уже все разошлись, но все-таки «пока не увяли цветы и лента еще не прошла через известь лета».

Эти стихи появились через некоторое время. Иосиф дал мне экземпляр, когда я как-то зашла к нему и, боясь, как бы не передумал, поспешно унесла листочки к себе в норку, чтобы медленно разобраться в сложном синтаксисе. Как обычно, споткнулась на арифметических подсчетах, в которых Иосиф никогда не был силен. Вот и здесь: из строчек «если сумею живым, здоровым столько же с этим прожить я словом лет, сколько ты прожила на свете» никак не следует перенесение в 2001 год, о котором речь дальше. От слов в последующей строфе («когда я, не дотянувши до этой даты, посуху двину туда, куда ты первой ушла») сегодня падает сердце, но это печально оправдавшееся пророчество тогда даже раздражило какой-то неуместностью перед лицом не грядущей, а именно что состоявшейся, неотменимой смерти Т. Б. И даже самая щедро теперь цитируемая фраза «смерть — это то, что бывает с другими» показалась мне тогда лишь упражнением на тему плача, схоластическим экзерсисом о непостижимости загробной жизни.

В общем, сначала я в этих стихах Таню не узнала и сказала об этом Иосифу: это не про нее. «Про нее», — ответил он с непререкаемой интонацией.

Я ошибалась. Действительно, мы, знавшие Тату с детства, так привыкли восхищаться ее разнообразными способностями, что в конце концов к этим талантам ее всю и свели. Мы видели, что она очень умна, исключительно способна к языкам, ярко

одарена в живописи. Мы знали ее спокойной, сдержанной, даже бесстрастной, но всегда готовой оценить юмор. Мы ценили ее образованность, проницательность, разнообразные интересы и редкостное для женщины умение справляться с любимыми железками. Но только из этих стихов, много раз их перечитав, я поняла, что Таня не была просто совокупностью достоинств и даров, что главное лежало над или внутри этих талантов, перекрывало их, пронизывало и называлось душой или добротой. Как обычно, Иосиф опережал читателей моего уровня на годы и десятилетия.

Об аресте Иосифа я узнала на следующий день от его родителей. А еще через пару дней в нашей квартире поздно вечером раздался звонок в дверь. На пороге стоял незнакомый человек — именно так, на мой взгляд, должен был выглядеть уголовник, хотя я никогда в жизни их не видела. Сняв с бритой головы ушанку, он сунул мне в руки какие-то бумажки и убежал. Я развернула наружный листок — это была записка от Иосифа, прямо из КПЗ Дзержинского районного управления милиции, куда его поместили 13 февраля без предъявления ордера на арест. А внутри лежали два плотных бежевых листка размером в половину листа писчей бумаги, исписанные с обеих сторон. Это были четыре стихотворения, датированные 15–17 февраля: «Инструкция заключенному», «В одиночке желание спать...», «Перед прогулкой по камере» и «В феврале далеко до весны...» (под этим стихотворением стояла не только дата, но и место его написания: «тюрьма»). В записке было сказано, чтобы я обязательно показала стихи М. Б., а также распространила их как можно шире — совсем не характерное для Иосифа стремление, обычно приходилось долго уговаривать его дать перепечатать новое стихотворение; похоже, он, как и Мандельштам, считал, что если «людям нужно», они сами найдут. Конечно, я выполнила оба поручения: сбежала к М. Б. на улицу Глинки, а также изготовила десять копий и пустила в самиздат. А бежевые листочки с чуть истрепавшимися краями и сейчас у меня, вот уже сорок четыре года.

С самого начала ссылки Иосиф регулярно писал нам письма, помечая обратный адрес то «п/о Данилово», то «Арх. обл.», то «Коноша, почта, для И. Б.».

Известно, что за эти полтора года он написал сотни писем. И вовсе не плохой представляется мне идея все эти письма издать, расположив их в хронологическом порядке, — тогда можно будет видеть, как протекала его жизнь в Норенской, как она менялась в зависимости от сезонов и от гостей. И еще интересно было бы проследить, как отражалась на содержании писем их адресованность — влияние «охотника, так сказать, на дичь». Настроение менялось часто: «Мне то худо, то совсем хорошо. Песочные часы с разноцветными чашечками. Надеяться не приходится; но можно стараться не забывать свою прошлую жизнь, видеть ее во сне; но это тоже с переменным успехом». Впрочем, иногда письмо, начинаясь бодро и весело, резко снижало тон и заканчивалось даже полным отчаяньем: про «усталость, которая никак не проходит, сколько ни спи».

В письмах к нам, конечно, не было никаких литературных аллюзий, для этого у Иосифа было множество других адресатов. Были фенологические наблюдения: «ночь — счастье астронома. Мороз, ветер etc.». Письма касались бытовых подробностей, очень редких просьб, но частых благодарностей за какие-то ничтожные услуги или посылки, вроде: «...от всего сердца благодарю Иру за журналы; если хочет, пусть мне напишет. Я не декабрист и заниматься языками не в состоянии, но полистать Пшекруй приятно».

Подписывался чаще всего «your old Joseph», «forever your Joseph», «forever your servant», или просто «ваш И. Б.», но почему-то вдруг одно из писем заканчивается на чудовищном французском — что-то про «ваше превосходительство» и «покорнейшего слугу».

Самое первое письмо было написано на двух зеленых телеграфных бланках. В нем Иосиф писал, что «испробовал нары всех пересыльных тюрем: от С. Петерб. до Архангельска. Сейчас содержусь в тюрьме поселка Коноша (см. Карту) — 24 часа езды от Л-да».

Главная тема его писем к нам — думаю, что в отличие от всех других адресатов — была: берегите М. Б. Без этого не обходилось, пожалуй, ни одно послание. «Будьте добры с Мэри, что бы она ни выкинула». Этот призыв повторялся беспрестанно, я даже находила, что он звучит так же настоятельно, как блоковское «слушайте музыку революции». «Защищайте ее всегда, как бы вам ни было некстати». «Защищайте ее всей своей самоуверенностью, грубостью, молодостью, абсурдом. Берите за основу доброе и не ошибетесь, пусть хоть весь мир противоречит». «Но все же пишите мне всю известную вам правду — чем отчаяннее положение, тем яснее, как быть: это дурацкий закон».

Боюсь, что такого рода поручения мы выполняли весьма слабо — главным образом потому, что не было случая: как-то на моей памяти никто на М. Б. не покушался, ничего она не выкидывала, так что нам не приходилось применять свою самоуверенность и грубость (не очень-то даже было понятно, что имелось в виду). «Старайтесь также (изо всех сил) никому ничего не рассказывать: помимо внешних врагов есть еще и внутренние (no political speaking)» и дальше: «...если уж все равно раскрывать рот, то лучше бы для дезинформации — опять же имею в виду не политическую сторону жизни».

С нами Иосиф мог быть совершенно спокоен: нам некому и не о чем было рассказывать, мы не владели, по анекдоту, «материальной частью» и, если честно, отнюдь к этому не стремились.

В начале октября 1964 года он уже пишет: «К чему разбирать иероглифы: побалуйте машинописью», но потом продолжал писать от руки, часто на ходу, торопясь, и это дало мне хорошую школу, которая пригодилась потом, когда я перепечатывала тетради его черновых записей, — разбирать его почерк мне уже было легко.

Вот почему я скептически отношусь к автографу стихотворения «К Евгению», который помещен во втором томе Собрания сочинений Бродского. Совершенно не узнаю почерка! Иосиф

никогда так не писал ни «д», ни «ж», ни мягкий знак, да и все прочие буквы. (В одном из своих редких заявлений в зале суда Иосиф сказал: стихи на листах таких-то и таких-то «не принадлежат моему перу». Перефразируя эти слова, могу сказать, без графологической экспертизы, что перо, которое выводило тщательно выписанный текст публикуемого «автографа», Иосифу не принадлежало.)

«Вы читаете мое письмо, — пишет он 7 апреля 1964 года, — а я вывожу на подводе в поле навоз и известь. Не ждите более подробных описаний, благодарите небо, что бумага не воняет. Ирония ничем не лучше жалобы. Между ними = . Это известно давно, потому все относятся к юмору настороженно. Не отступайте и вы от правила».

«13 апреля будет 2 месяца этому беспорядку, но я считаю с января».

А вот через месяц, 13 мая: «Рада, напиши мне еще: у тебя неплохо выходит».

Я, конечно, вся раздулась от гордости. И не отнесла это к простой вежливости — во-первых, потому, что она была Иосифу не слишком свойственна, а во-вторых, Эдику он тут же рекомендует нечто противоположное: «Надеюсь получить от тебя письмо без описаний приморских красот!» Благосклонность к моим эпистолярным способностям Иосиф высказал еще раз через много лет, когда, приехав в Америку, я изложила ему жизнь-бытьё новых эмигрантов. Тогда для нас не было страшнее слова, чем TOEFL (Test of English as a Foreign Language), и все разговоры вращались вокруг него. В письме к Иосифу в Анн Арбор я изобразила кошмарное страшилище по имени Мефистофл и очень его этим позабавила.

Но баловал он меня главным образом стихами. Так, одно сугубо конфиденциальное письмо к Эдику имеет дополнительное вложение: «Посылаю Раде 4 стихотворения. Я написал еще много других, несколько длинных, но лень перестукивать, настроения все совсем нет». Это были «Деревья в моем окне...», «Тебе, когда мой голос отзвучит...», «Орфей и Артемида» и

«На отъезд гостя». «Орфея и Артемиду» покажите Мэри: у нее нет, хоть и давно написано. Но это вариант — у меня еще целых четыре, но это самый понятный. Adios». И еще приписка: «Больше никому не давайте».

Некоторые поручения просто невозможно было исполнить. Например, передать привет нашей общей знакомой Инне Завадской, которая жила в Варшаве и связь с которой была тогда очень затруднена, — проще было дожидаться ее регулярных приездов домой.

Или такое внезапное послание, от 20 ноября 1964 года:

«Эд, милый! Возьми магнитофон, позвони Найману и скажи, что велел сводить тебя к Майку, чтобы записать Пёрселла: Музыка на смерть королевы (Марии?). Когда запишешь — лучше побыстрее — прогони ленту Мэри. Привет Радке, Дите. Что ж не пишете? Ваш И. Б.» И еще поперек этих строк: «Это — самая грандиозная музыка на свете!»

Хорошо, я верю, что это так, но: Майк? Очевидно, речь идет о Михаиле Петрове. Мы не были с ним знакомы, как, впрочем, и с Найманом — а тут срочный приказ — уговорить кого-то поехать, записать музыку...

Летом 1964 года Эдик уехал в поле в Приморье, а я — на Куршскую косу. Это обстоятельство подвигло Иосифа на такие строки про море: «Оно, как (вогнутые) скобки, включает в себя вашу жизнь с Запада и Востока; собственно — всю землю. Представь также, что случится такой день, когда он — на Востоке — и ты — на Западе — одновременно полезете вдруг купаться и, таким образом, вдруг вынырнете за скобки вашей жизни (и всего бытия), как тот монах на старинной картинке, выглядывающий за край мироздания». Эти строки я часто вспоминала много лет спустя: и на обоих берегах Атлантики, тоже похожих на вогнутые скобки, и в бухте Золотые Ворота в Сан-Франциско, почти напротив которой, в девяти тысячах километров, лежит другая — Золотой Рог, куда дважды приводила меня экспедиционная судьба, и чувствовала себя средневековым монахом с описанной Иосифом картинки.

Писал он и мне в Литву, в Ниду: «Вот уже полгода моим печалям. Горизонт затянут тучей, и милицейское солнце мне не светит. Последнее время нервы стали как бы сдавать и по ночам мне снится освобождение. И прежняя жизнь».

Однако иллюстрирует он свою жизнь вполне мирным рисунком: рисует свой портрет с пером и бумагой в руках, в окружении коровьей морды, бревенчатого домика под елью, нескольких цветочков и сияющего среди облаков солнца.

В другом письме Иосиф набрасывает свой небритый профиль, склонившийся над горящей свечой. А еще есть целая картина, изображающая нашу с Эдиком мирно-буржуазную жизнь (с кошкой и телевизором), тогда как на заднем плане — сам Иосиф, груженный ведрами (и, кажется, даже с коромыслом).

К сожалению, кое-что, конечно, забылось. Вот он реагирует на какие-то мои послания: «...нашел твое апрельское письмо с Осипом. Большое спасибо» (очевидно, по его просьбе я выслала ему какие-то стихи Мандельштама, но не помню этого). Или: «Еще послушаем Джонни. Не забывайте меня, что бы со мной ни стряслось» (наверное, я писала что-то про привезенную нашим другом из Парижа пластинку Холидея).

А в письме от 12 ноября 1964 года Иосиф просит: «Рада, солнышко, подвернется свободная минута, — перепечатай эту заметку с написанным от руки „предисловием“ и пошли в „Известия“ (обратный адрес — ваш — или чей угодно, но только квартиры). Предисловие можешь улучшить по своему вкусу. Заметка — ерунда, но кое-где толкова». Понятия не имею, о чем идет речь! Наверное, перепечатала и послала, — но что это было?

Среди конвертов нахожу и самодельный, сложенный из тетрадного листка в полоску, в котором вложено письмо, где Иосиф подробно объясняет, как до него доехать: поезд по нечетным дням в 13.45, на станции пойти на почту и проситься на почтовую машину, которая уходит в 8 часов. В худшем случае следует дойти до Коношского леспромхоза и там спросить, не идет ли (в сторону Тавреньги) в Норенскую машина. И в конце: «Податель сего письмеца обскажет мою жизнь подробно и с воодушевлением». Но кто это мог быть — ума не приложу.

Точно так же не узнаю никого в характеристике, выданной Иосифом в другом письме, уже из Нью-Йорка, почти двадцать лет спустя (19 августа 1983 года): «Обласкай, как можешь, подательницу сего. Она — *весьма и весьма отечественного производства*» (выделенные курсивом слова Иосиф подчеркнул). Кто это был, кого он отправлял в Париж? Ведь я же видела эту подательницу, если получила его письмо? И чего «сего» была эта подательница — тоже не имею понятия. В этом же письме, обращенном к нам с Володей, сказано: «...здесь — не все, что я тебе обещал: не мог найти остальное, но — найду. Целую вас обоих». Нашел ли, и что это было? И спросить мне уже совсем не у кого.

Среди писем и записок от Иосифа у меня каким-то образом сохранилась недатированная вырезка из газеты «Новое русское слово», в рубрике «Письмо в редакцию». В ней говорится: «Уважаемый г-н Редактор! Настоящим письмом я хотел бы уведомить читателей Вашей газеты и организаторов Антидиффамационной Лиги о своем отказе от сотрудничества (sic!) с последней в любом качестве. Звание директора-учредителя было присвоено мне без моего ведома, в результате досадного недоразумения, о котором я тем более сожалею, что сам в нем отчасти повинен. Искренне Ваш Иосиф Бродский». (Это может быть 1976–77 год, когда я жила в Америке, — потом я уже этой газеты никогда не видела.) Но что за Лига и в чем Иосиф «отчасти повинен» — представления не имею, могу только гадать, чем вызвана ярость, продиктовавшая это письмо, ясно одно — попытка привлечь Иосифа к каким бы то ни было действиям скопом была заранее обречена на провал.

Вообще, я бы сказала, что он был злостно пристрастен. Мог о ком-то отозваться с восторгом, вознести до небес, а кого-то другого просто не выносить, в то время как, с точки зрения третьих лиц, оба они ничем друг от друга не отличались!

Конечно, Иосиф бывал и желчным и едким, а его отзывы — жалящими. Но гораздо, гораздо чаще он просто острил, подтру-



нивал, вовсе не грубо, а весело и снисходительно. Тогда только начинавшего, а ныне маститого прозаика называл Убитов, а известного литературоведа — Фимкинд. От него же пошло очень потом распространенное mot «Галич-нслегалич».

Иосиф мог утверждать, как говорят французы, — *tout et son contraire*. Помнится, однажды я его спросила: почему и Ахматова, и Надежда Мандельштам так нередко поминают Шефнера, и как поэта и как человека. Что им Шефнер, зачем они говорят о Шефнере? Усмехнувшись, Иосиф ответил: ну, это примерно, как мы сейчас поминаем Ку-ушнера... Конечно, Иосифа веселила аллитерация этих имен, но и по сути он тогда ставил Кушнера примерно на ту же клеточку, где поколением раньше стоял Шефнер. А между тем, года за два до этого разговора в письме ко мне из Норенской прямо на полях страницы, перпендикулярно основному тексту и без всякой с ним связи, Иосиф размашисто вывел: «Кушнер — великолепный поэт». Всякий раз у него, конечно, были свои резоны, которые я постичь не могла, да и не очень интересовалась и вникнуть не старалась, меня вполне устраивали его конечные выводы, любое его мнение для меня оставалось неизменно ценным.

Правда, я считала (но, разумеется, ему этого не выражала), что он должен бы быть осторожнее в высказываниях, ибо не мог не знать, сколь большое влияние оказывает на окружающих и в значительной степени формирует их мнение. Ведь это же он всем своим авторитетом, всей силой личности пусть не создал, но мощно и безоговорочно подпер пьедестал памятника Ахматовой как великой душе, так что эта точка зрения стала непререкаемой, и именно из-за нее изредка предпринимаемые попытки демифологизации поэтессы находят себе дорогу с таким трудом.

Или — обратный вариант: Иосиф не мог не понимать, что его отзывы о бывшем друге молодости, а теперь человеку неравной ему весовой категории, могут поставить крест на его судьбе и карьере, в то время как его вина (вернее, незадачливость) состояла лишь в том, что он оказался в ненужном месте в ненужное время. Иосиф не дал ему никакого шанса выпрос-

таться из-под своей командорской десницы, компромисс был невозможен, только полная аннигиляция.

Когда в первый раз он прочел нам «Одной поэтессе», то спросил: «Ну о ком это?» Я пожала плечами, ведь так очевидно: «О Белле Ахмадулиной». — «А ты, Эд, как думаешь»? — «О Белле Ахмадулиной». На это Иосиф ничего не ответил — и осталось непонятным, рассчитывал ли он на такое узнавание или, наоборот, был раздосадован тем, что написал слишком прозрачно.

Как-то в один вечер он принес и «Послание к стихам», и «Речь о пролитом молоке». Прочел оба стихотворения подряд и прочел как всегда замечательно. Потом спросил, какое больше понравилось. Удивительно, что его на самом деле интересовало наше мнение о новых стихах. Эдик был за молоко, я — за послание. Но вообще на такие вопросы невозможно было отвечать: ну какое лучше? Оба лучше. Тем более в данном случае — они уж совсем в разном регистре. Меня, как всегда, занимала одна и та же проблема: уговорить Иосифа оставить мне экземпляр, на сутки, на несколько часов, а когда в доме была взятая ненадолго у друзей пишущая машинка, — сесть и перестукать стихи прямо сейчас. Вот потом, когда автор уйдет, вчитаться, затвердить, заново восхититься и уж тогда решать, какое лучше. Но из этих двух я до сих пор выбрать не могу. Так же как не могу назвать «самое любимое» стихотворение: они менялись год от году, возвращались снова, расходились, пока не сливались в одно целое: стихи Иосифа Бродского. Любимые — все.

Спонтанных своих реакций я вообще сильно опасалась — мало ли что можно было сморозить. Вот как двумя годами раньше я хохотала как безумная, когда Иосиф читал «Два часа в резервуаре». Принялась смеяться с первых же строк и продолжала неудержимо хохотать. Я и сейчас считаю эти макаронические стихи отчаянно смешными, а уж при первом слушании! Все эти «Их либе ясность. Я. Их либе точность», «Поэмой больше, человеком — ницше», «Инкубус дас ист айне кляйне гло-

бус», — не могла удержаться и прыскала все время, пока Иосиф читал, так что Эдик даже на меня укоризненно посматривал, а Ося — ничего, не сердился. Он вообще не находил мое поведение неприличным, наоборот, это его обрадовало, и он даже сказал, что на такую реакцию и рассчитывал. Кстати — помню его рассказ о каком-то из писательских бонз, не то Суркове, не то Полевом, который сказал про это стихотворение, что оно написано «с еврейским акцентом».

В тот день, 11 июля 1966 года, которым датируется «Ода на вселение в новую квартиру», он тоже пришел с М. Б. и принесли они большую плетеную корзину, вернее, лукошко с ручкой. (В память о нем я уже в Париже купила себе точно такое же и многие годы езу с ним в Фонтенбло по грибы.) Корзина была наполнена овощами и фруктами — символ и пожелание благоденствия, что в нашей жизни впоследствии неожиданно оправдалось. Выглядела корзина роскошно: сверху какие-то экзотические плоды, вроде ананаса, вокруг него апельсины, дыня и сливы. Под этим первым слоем яств — яблоки и груши, плоды местных садов, а на дне — помидоры, огурцы, картошка. Все это было переплетено бумажными лентами, выглядело очень красиво и очень быстро было уничтожено.

Спустя тридцать лет, в Венеции, я рассказала Андрею Басманову эту историю, случившуюся за год до его рождения. Он обрадованно загудел: «Ну да, узнаю маму... художница... она обожает декорировать... все, что под руку попадется...»

Как-то раз (Андрей был тогда совсем маленьким) я пришла к М. Б. вместе с Иосифом, который немедленно выразил восторг от стоявшего слева в большой комнате буфета, по-моему, из черного резного дуба, во всяком случае, он был высотой под три метра и весь в рельефах и завитушках. Такие буфеты мы с подругой Наташей называли «Кельнский собор». В то время их во множестве сдавали в комиссионные магазины люди, перебивавшиеся из коммуналок в центре в отдельные квартиры на окраине. Оказалось, что М. Б. этот буфет только что купила

и Иосиф его еще не видел. К моему удивлению, он спросил, сколько это стоило. Если я правильно помню — сорок рублей. Покупку Иосиф горячо одобрил — буфет действительно был просто красавец.

В «Оде на вселение» есть такие строки:

...и в день погожий аж  
Вам будет Швеция видна!  
И шведы встанут у окна,  
и любоваться будет шхера  
Сияньем вашего торшера!  
И скальд угрюмый, впав в азарт,  
ударит пальцами по лире...

С первым и единственным в моей жизни шведом я познакомилась в Венеции уже после смерти Иосифа. Бенгт Янгфельдт меньше всего был похож на «угрюмого скальда», но очень напомнил нам с Дитой самого Бродского: и внешне, и особенно голосом, манерой говорить, интонациями — словно он изучал русский язык (и знал его лучше многих носителей) прямо с голоса Иосифа. И я с удовольствием представила Бенгта стоящим у окна у себя в стокгольмской квартире и глядящим на наше окно на другом берегу залива. Потом он подарил мне очень изящно изданную им в 1990 году в шведском издательстве «Нулаеа» книгу Иосифа «Примечания папоротника».

Конечно, стихи для меня всегда были самыми дорогими приношениями. Как-то Иосиф преподнес мне «Salutation на двух языках» из четырнадцати пронумерованных строф про канун моего дня рождения. Стих начинался так:

Двадцать восьмое, март.  
Господин Эдуард  
входит в ломбард.

To be or... and yes or not...  
Чтоб избежать длиннот  
выходит с пачкой банкнот

Не могу привести его целиком — в силу знаменитого запрета душеприказчиков на неизданные рукописи. (Я столкнулась с этим давно, в 1979 году, когда в Париже издавалась книга Шаховской «В поисках Набокова». Тогда Зинаида Алексеевна рассказала нам, что вдова писателя Вера Евсеевна выразила (через адвоката) протест против публикации набоковских писем, адресованных Шаховской. В ответ собственный адвокат Шаховской посоветовал ей цитировать лишь небольшие отрывки, а остальное перевести в косвенную речь. Вроде бы в этом случае душеприказчикам не к чему будет придаться.)

Не знаю, сохранилось ли такое положение и сегодня, и никогда не смогу понять эту богатую идею — пересказывать Бродского «своими словами»! Значит, примерно так: дальше в стихотворении речь идет о том, что Иосиф с подружкой идут на грабеж, угрожая ножом (knife), чтобы добыть денег на подарок для my friend's wife. После чего подружка забывает свои горести, покупает красивое платье, и они вместе садятся на трамвай, переправляясь через канал, как через Стикс, и едут праздновать мой день рождения. Красиво получилось? У Иосифа — вполне. Заканчивается «Salutation» так:

...славословить союз  
between his mind and her grace  
between his eyes and her face  
и думать: in our days

возможен мир и покой  
он лежит за рекой  
и нам до него рукой  
подать...

Последняя строка, конечно же, апеллирует к моему пленению Цветаевой, которому Иосиф не мог не благоволить. (И вот о странных сближеньях: никто из нас тогда и думать не мог, что всего через десять лет мне действительно будет «до Эйфелевой — рукою», а моя сестра вообще сможет каждый час видеть из собственного окна ее десятиминутное голубое мерцание.)

Этот макаронический стих с целыми строчками на очень приблизительном английском (во дворе 1966 год!) был еще богато раскрашен красным и синим карандашами — плод совместных трудов поэта и художницы. Причем руку различить легко. М. Б. нарисовала, очень профессионально, улицу с домами и куполом церкви, мост, по которому идет трамвайчик, окровавленный кинжал и синий подсвечник с красной свечой, а Иосиф — свои обычные виньетки, облака и тщательно выписанную марку на конверте, проштемпелеванную, естественно, на шхуне «Etcetera»: поверх черепа с костями была наклеена квадратная бумажка с изображением лиры и надписью по кругу: «Ангелопочта. Цена 1 копейка».

Книги тогда доставать было непросто, но все-таки почти всё, о чем мечтала, у меня было, уж не знаю какими путями. Особенно трудно было с Большой серией Библиотеки поэтов. Кажется, весь тираж ее раздавался по благу в Лавке писателей и до покупателей вообще не доходил. Однажды на день рождения Иосиф принес мне Пастернака в этом издании, со вступительной статьей Андрея Синявского. Я была на седьмом небе. Но это не мешало мне канючить дальше — теперь уже по поводу Цветаевой (на тот момент — и еще долго потом — она безраздельно царила в моем сердце): «Ося, я хочу большую Марину...» «„Большой Мариной“ называли гаубицу на военном судне», — не упустил случая просветить меня Иосиф. «Ну ладно, ты знаешь, о чем я...»

И однажды великий день наступил — я оказалась обладательницей этой бесценной книги. Не знаю уж, где ее раздобыл Иосиф, боюсь, что просто «зачитал» у другого поклонника собственных стихов. Но я не спрашивала, меня это мало занимало, я была счастлива, берегла свою «Большую Марину» пуще глаза и, конечно, взяла ее с собой в эмиграцию. А там ее ждал еще один поворот судьбы (прав был Теренций Мавр — *habeant sua fata libelli*). Мой парижский знакомец Паша Р. (немножко книготорговец, немножко антиквар) буквально выпросил у меня кни-

гу «на короткое время». Мне ужасно не хотелось с ней расставаться, но Паша поклялся, что если что — он отдаст мне свой собственный экземпляр, который ему был тоже дорог, по другой причине, как букинисту. Скрепя сердце я согласилась и никогда эту книгу больше не увидела. Но Паша слово сдержал: через некоторое время принес мне свою, побывавшую в руках Ариадны Сергеевны Эфрон, с небольшими ее поправками в тексте и дарственной надписью очень похожим на материнский почерком на форзаце: «Дорогой Муне на память и на радость. АЭ. Москва, январь 1966». Муна — Мария Булгакова, дочь протоиерея Сергия Булгакова и первая жена Константина Родзевича, героя «Поэмы горы» и «Поэмы конца». Так что любители и собиратели автографов могут со временем обратиться к моим наследникам.

В то время, когда Иосиф дарил мне эти синие томики, невозможно было предвидеть (невозможно — мне, а ему-то, кто знает, это могло казаться очевидным), что его собственные стихи будут изданы в Новой библиотеке поэта, прямой наследнице старой. Теперь я жду этот обещанный двухтомник, этого Двойного Иосифа с тем же нетерпением, что некогда «Большую Марину», за тем исключением, что времени на это ожидание у меня теперь гораздо меньше, чем тогда.

Иосиф всегда был очень нежен со мной, но надо признаться, что я его ужасно боялась. Так боялась, что уверена: никогда бы не познакомилась с ним и не общалась бы (всегда прекрасно понимая, насколько все это ему не нужно), если бы его стихи, его книги можно было просто купить в магазине. А их я очень хотела. Хотела иметь при себе, читать, выучивать наизусть, только поэтому и терпела эти мучения. В значительной степени из-за этого страха я и могла ляпнуть что-то совсем неожиданное, вообще на меня не похожее. Никаких ляпов Иосиф не прощал, да я и сама себе не прощала, такие они были вопиющие. Как-то про одну английскую книгу я ему сказала, что она уже на русский «перевЕдена». «ПереведенА», — немедленно откликнулся Иосиф. А то я не знаю! И золотая медаль у меня, и глав-

ное — всегдашнее, скорее пуританское, отношение к языку, и так облажаться! А когда, в другой раз, я назвала Фрину — богиней разврата?! Причем, именно от скованности, от страха, что он увидит, с каким недостойным собеседником имеет дело, и понимая, что скрыть этот факт никаким образом нельзя.

Его реприманды разных категорий настигали меня постоянно. Незадолго до знакомства с Иосифом мы с Ирой впервые поехали в Таллин, причем втайне от родителей и на попутных машинах. Тогда для нас Эстония была настоящим Западом — маленькие кафе, где мы наслаждались вкусным кофе и булочками с ревенем, лавки ремесленников, где купили варежки и шарфы местного производства, а на оставшиеся деньги — еще и акварель, прямо в галерее-салоне, где свои работы продавали сами художники. Акварель изображала красных рыбок в аквариуме среди зеленых водорослей, висела в прихожей нашей квартиры на Мойке. В одно из первых ее посещений Иосиф ткнул пальцем в защитное стекло: «Вот это, Радка, очень плохая живопись!» Рыбки бесследно исчезли.

Скованность, которую Иосиф во мне вызывал, не оставляла меня и в тех случаях, когда я была совершенно уверена в своей правоте, но не находила в себе сил ее отстаивать. Среди переводов Андрея Сергеева Иосиф очень любил стихотворение Джона Чиарди «Стул, заваленный нашим тряпьем», подарил мне экземпляр, с упоением скандировал:

Тодзио пляшет в петле за всех!  
Мы молотом били, мы били в набат,  
И лишь потому это был не ад,  
Что мы победили — тогда и тех.

Где-то год спустя я процитировала при нем первую строчку этого стихотворения:

Все это было и стало сном  
(я чмокнул покойницу и улизнул)...

«Полковницу, — сказал Иосиф. — чмокнул полковницу». Этим он меня просто оглушил — ведь я точно знала, что ни о какой



полковнице там не было речи, это он ошибался, я и доказать могла, достать им же подаренный листочек с текстом. Но ничего подобного не сделала, просто стусевалась. Ладно. В конце концов, речь шла о стихах, о его поле деятельности, куда мне не было ходу.

А много лет спустя, в Париже, когда я была уже большая девочка, мы шли как-то вдвоем с Иосифом по рю дез Эколь, напротив Политехнической школы, и он махнул рукой в сторону каменной статуи в сквере Поля Ланжевена: «Это я помню. Это Данте». — «Угу», — ответила я, хотя к тому времени уже пристально занималась топографией Парижа, готовя свою книжку, и доподлинно знала, что это статуя Франсуа Вийона, тогда как Данте стоит дальше по этой же улице, у здания Коллеж де Франс. Но произнести это была не в состоянии. Ведь это значило бы выговаривать Иосифу.

Чего я сейчас вообще не понимаю — это каким образом осмелилась читать ему свои переводы — и не чего-нибудь, а сонетов Шекспира! Как говорится в моей любимой книжке про Дениску — «наверное, я на минуту потерял сознание». Ося слушал спокойно и терпеливо, но наконец взвился: «С чем там у тебя рифмуется „ветер“?». «Со „свитер“», — честно ответила я. «Ну знаешь, ветер-свитер ты будешь рифмовать в каком-нибудь другом месте, но не у Шекспира!»

Но был у меня и свой звездный час! Когда Иосиф впервые прочел у нас «Новые стансы к Августе», он повернулся ко мне: «А кто написал прежние?» От неожиданности я не успела испугаться и выпалила: «Ну Байрон, конечно!» Иосиф совершенно не выразил удивления такой неожиданной продвинутостью, он только удовлетворенно хмыкнул и пробурчал: «А то никто не знает...» Я была просто поражена, поскольку и всех его друзей, кому он читал и посвящал стихи, тоже причисляла к небожителям, — как это кто-то из них мог не знать авторства «Стансов к Августе»! Стихотворения, которое я знала наизусть задолго до знакомства с Иосифом, в пастернаковском переводе, и любила голосить:

Когда время мое миновало  
и звезда закатилась моя...

и т. д.

В семнадцать лет как не восхищаться строчками:

Мало даже утраты вселенной,  
Если в горе наградою — ты.

И выводом из них:

Гибель прошлого, все уничтожа,  
кое в чем принесла торжество:  
все, что было всего мне дороже, —  
по заслугам дороже всего.

(Сейчас цитирую по памяти, поскольку Байрона с собой в эмиграцию как-то не захватила.) Но, к сожалению, не понимаю, почему Иосиф счел свои стихи «Новыми стансами» и каким образом они коррелируются со стихами Байрона. Последние строки «Стансов к Августе» мне скорее приводят на память неожиданную концовку, «Речи о пролитом молоке»: «...зелень лета, ах, зелень лета...». Словом, нетерпеливо жду Комментариев к грядущему двухтомнику.

Может быть, именно в память о том удачном ответе Иосиф прислал мне через много лет в Париж только что вышедший из печати сборник «Новые стансы к Августе». Правда, дарственная надпись на ней говорит совсем о другом:

Тебе, девице многомужней,  
сей томик холостой, ненужный  
расскажет про издержки быта,  
про то, как 20 лет убито.

То, что я его боялась, это абсолютно понятно. Но каким образом это не мешало мне все-таки нахально приставать к Иосифу по разным поводам? То я рассказала ему про друзей

физиков, которых, с профессиональной точки зрения, очень рас-  
смешили строки из стихотворения «Одной поэтессе»:

Проницая призму,  
способён он лишь увеличить плазму.  
Ему, увы, не озарить ядра.

То доказывала, что в результате его геометрических по-  
строений в «Пенье без музыки» катет оказывается равным ги-  
потенузе.

То утверждала, что нельзя сказать («Пятьсот одеял»):

Жизнь одна, а мыслей много.  
Между них и сетью Бога  
Извиваться, как минога,  
научился человек, —

— тогда как надо либо «между ними», либо «меж них».

Или настаивала, что оборот «не меньше глуховата» (в «Зим-  
ней почте») не имеет права на существование, ибо «глуховата»  
это уже некий диминутив: «не меньше глуха» — нормально, а  
«не меньше глуховата» — неправильно.

Что ударение в «Беобахтер» на «о», поэтому с трактором он  
рифмоваться не будет. И вообще: не Фелькиш, а Фелькишер.

Каким образом все эти дурацкие придирки, само их, как сей-  
час сказали бы, «озвучание» совмещалось с моими комплексами  
и моим страхом, — не берусь ответить. При том что, есте-  
ственно, Иосиф на всю эту казуистику отвечал одинаково и не-  
изменно добродушно: «Тем хуже для...» Ядерной физики,  
планиметрии, грамматики.

Но однажды озабоченно спросил у меня как у биолога: «Что  
такое реакция Вассермана?» — «Ну это серологический метод  
диагностики сифилиса». — «Тьфу, черт, — хлопнул себя по лбу  
Иосиф, — кажется, я лажу написал!» Никакого упоминания  
о Вассермане я в его книгах не нашла. Может быть, недоста-  
точно внимательно вчитывалась.

Гораздо-гораздо позже, когда новые стихи Иосифа я уже благополучно могла иметь в виде опубликованных книг и не нужно было больше просить автора дать перепечатать, меня ждал сюрприз. В Париже вышел сборник стихов Бродского на французском языке: «*Poemes 1961—1987*», с предисловием Мишеля Окутюрье. Каким-то образом я была включена в список для рассылки, потому что издательство Gallimard прислало мне экземпляр с записочкой: «*De la part de Joseph Brodsky*». Поскольку это было первым во Франции изданием его стихов в качестве Нобелевского лауреата, книжка была обернута специальной красной полоской с уведомлением об этом обстоятельстве.

В свое время в книге «Поэзия и перевод» Эткинд изложил несколько постулатов, первый из которых гласит: «Перевод стихотворного произведения на иностранный язык невозможен». Мнение это я разделяла, так что для меня эта книжка, составленная из четырех сборников, была просто курьезом, я с удовольствием ее полистала, оценила подбор стихов: ну все любимое — из «Школьной антологии», «Натюрморт», «Новый Жюль Верн», «Осенний крик ястреба», «Письма династии Минь»... Стоп. А это что такое? Последнее стихотворение сборника начиналось словами: «*Seul le cendre sait...*» Такого стихотворения я не знала, никогда не читала! Датируется оно июлем 1987-го и действительно обозначено как «неопубликованное». Потом я узнала, что оно должно появиться в оригинале в «Континенте», но когда это еще будет... Словом, опять-таки «на минуту потеряв сознание», я принялась его переводить. Переводить Бродского на русский! Явно меня ничему не научил незадачливый опыт с переводом шекспировских сонетов. Первая строчка получилась мгновенно (ее французский ритм не оставлял сомнений): «Только пепел знает, что значит сгореть дотла...» Это меня очень воодушевило, и задача страшно увлекла, я не ела не пила, наверное, двое суток, что-то бормотала и наконец получила эти шестнадцать строчек. Понимая, что у переводчика должен быть текст оригинала, позвонила Веронике Шильц, и мы сравнили тексты. Я была ужасно довольна — совпали семь рифм из восьми, что, по-моему, здорово. Я употребила оборот «культурный

слой», как меня в школе учили, — там, где Иосиф говорит «культурный пласт». Вместо «на весь мир» в моем «переводе» — «по вселенной» (от французского ‘sur l’univers’). ‘Libre du tout’ перевела дословно — «свобода от всего», тогда как у Иосифа «свобода от целого». И еще: «apothéose des particules» перевела как «торжество частиц», а не «апофеоз», причем совершенно сознательно, вспомнив о «Торжестве земледелия» Заболоцкого, которое по-французски как раз и переводится «апофеозом». В конечном счете выяснилось, что от этого двойного перевода пострадал только один образ, во второй строфе, про угол (скамейки или комнаты), который не дает проникнуть лучу. У Вероники этого угла нет (просто sous le banc, ou pas un rayon ne penetre), так что и у меня ему неоткуда было взяться.

Это был страшно интересный опыт, который, как мне сообщила Вероника, произвел впечатление и на Иосифа, когда она ему рассказала эту историю. Сейчас я об этом пишу не для того, чтобы похвастаться собственным достижением, а отдавая дань восхищения мастерству Вероники: вызвать к жизни мой столь адекватный обратный вариант мог только ее точный перевод, ее великолепное знание русского языка, а главное, всего строя поэтики Иосифа. Самое время вспомнить второй постулат Ефима Григорьевича: «Каждый раз — это исключение».

Так же блистательно Вероника переводит и прозу. Ее перевод (уже с английского, в соавторстве с Бенуа Кере) эссе, которое Иосиф назвал «Watermark», получил прекрасно ею найденное название «Acqua alta», на мой взгляд более близкое к образу Венеции и смыслу эссе, чем русское «Набережная неисцелимых», хотя сам автор так и озаглавил первый вариант книги. В этом русском переводе я вообще спотыкаюсь на каждом шагу: то совершенно непонятное слово «Стацьоне», которого ни в одном языке нет и почему-то с прописной буквы, как будто это имя собственное (уж лучше было оставить stazione, как в английском или французском тексте, и объяснить в сноске), то какие-то «мерзнущие водоросли» (просто кадр из мультфильма) вместо «смерзшихся», или еще: ну кто в словах «картина в нутрии» сможет узнать красотку в изящной шубке? Шуба на «image» была действительно из нутрии, но ведь прежде всего

здесь слышится «внутри», «внутренность» и пресекает возможность распознавания образа. Уж лучше бы сменить породу зверька — поменял же Франковский котлею (которая для русского слуха гораздо больше походит на котлету, чем на изысканный цветок) на орхидею. После попытки одолеть этот перевод я и сказала однажды француженке Веронике: «Ты должна перевести на русский все, что Иосиф написал по-английски, — и стихи, и прозу», и это предложение лишь наполовину было шуткой.

В постскриптуме письма ко мне из Нью-Йорка от 26 июля 1978 года Иосиф пишет: «Говоря о книжках: у Леша Лифшица довольно давно уже была идея издать (собрать и издать) мой легкий жанр — послания, на случай, всякие Жюль Верны и т. д. Прилагаю пару образцов».

Один этот «образец» был посвящен А. Я. Сергееву («Лишенный прежнего насеста...»), другой — Эре Коробовой («Любезный Эрос...»), причем к ее имени Иосиф прибавил в скобках: «жена Наймана, Венцловы», хотя Эру я прекрасно знала.

Я, конечно, очень обрадовалась, тем более что, в отличие от большинства прежних «стихов на случай», они были очень длинными, а чем длиннее, тем радости больше. Как и Леша, я тоже обожала такие стихи и неустанно их собирала. До сих пор мечтаю увидеть изданным такой сборник, из одних «стихов на случай» — прекрасный повод восхититься тем, как особенно весело резвятся на этом поле несравненные версификаторские таланты Иосифа и никогда не оставляющий его великолепный юмор.

В другой раз он мне прислал посвященные Е. Рейну очаровательные пятьдесят две строфы, датированные 30 июля 1978 года («Пишу тебе из США...»). Это машинопись, но номера строф проставлены от руки, а на обороте одной из страниц — несколько посторонних стихотворных строк, по-русски и по-английски. А сам текст Иосиф правил на этот раз — для меня впервые — не с помощью зачеркиваний и надписываний (что всегда дает уникальную возможность текстологу сравнивать вариан-

ты), а «на западный манер», замазав забракованные слова специальными белилами и печатая поверх, что требует определенной ловкости. Изменения были внесены по крайней мере в двадцать строк, и это в шуточном послании! Но даже потом, уже вытащив лист из машинки, автор сделал последнее исправление, с помощью сноски: строчку «Здесь на Левше Левша» заменил на «Что Лифшиц — то Левша».

Но вот то, что Иосиф отнес к легкому жанру «Нового Жюль Верна», — меня, можно сказать, даже возмутило. Леше и Нине он посвятил много прекрасных стихов, но именно посвящение им этого цикла вызвало у меня острую зависть. Не помню, чтобы я когда-нибудь кому-то так сильно завидовала, как им по этому поводу. При том что Леша повел себя просто как ангел. Вот нахожу в его письме тридцатилетней давности: «Володенька, нельзя ли у вас там выцыганить номер с «Нов. Жюль Верном», к-й посвящен нам с Ниной (независимо от того, сохранено ли в публикации посвящение или нет)». Как же это можно смириться с тем, что посвящение могло исчезнуть! Впрочем, именно это (в «Вестнике РХД» оно, конечно, было на месте) и случилось в первой же российской публикации в «Новом мире».

Помню, как мы с Володей читали «Нового Жюль Верна» в Париже, задыхаясь от хохота: один осьминог Ося, «со всех сторон» окружающий лейтенанта Бенца, чего стоит! И разговор в кают-компании, разговоры на палубе! (В то время у нас была одна сотрудница, с которой как-то трудно было вести диалог. Когда в очередной раз я не поняла ее реакции, Володя подхватил: «О чем я их ни спрошу, слышу странное „хули-хули“». С тех пор она и осталась под кличкой «хули-хули», и настоящее ее имя я уже даже не могу вспомнить.) А неизбежно грустный конец стихотворения бросает тревожную тень на все остальное, и уже при втором чтении эта тревога выступает на первый план, «безупречная линия горизонта» превращается в безразличную к человеку и потому угрожающую. Впоследствии Иосиф всегда публиковал «Жюль Верна» в основном корпусе (в том числе и в самом моем любимом московском сборнике 1990 года, на мой взгляд, лучшем и по подбору стихов — такая себе малень-

кая антология, которая замечательно представляет все основные произведения, и по оформлению: какой-то «правильный» размер и объем), и уже больше никогда не было речи о «Жюль Верне» как о стихах «на случай».

Недавно вот встретила в интернете «Методические рекомендации к изучению поэзии Иосифа Бродского в 11-м классе», сочинение господина Нелькина. Так там петербургский учитель включает «Жюль Верна» в двух-трехчасовой курс по Бродскому среди десятка стихотворений — от «Рождественского романса» до «Рождественской звезды», а также рекомендует провести для детей его сравнительный анализ с «Пироскафом» Баратынского! А тут — «легкий жанр»!

Нет, я действительно злоупотребляла снисходительностью Иосифа, если даже осмелилась отправить ему рифмованное письмо! Правда, всего однажды. Если я его здесь привожу, то потому, что адресату что-то в нем понравилось. Сужу по тому, что вскоре я услышала весьма одобрительный отзыв Иосифа обо мне — тем более лестный, что он был высказан нашему общему приятелю, посетившему Париж в то время, когда гости из отечества были еще большой редкостью. Повторить его здесь я все-таки не решаюсь, но уверена, что наш друг не откажется в случае чего его подтвердить. А письмо — вот оно:

Двадцатилетний срок  
да минус городов  
изведав, на станок  
(печатный!) всех родов  
не взглянешь, надоел!  
Одна тоска.  
Увы, таков удел  
того, кто на века

прославлен. По тебе,  
презрев лимит,  
скучает не ГБ  
уже, а МИД.



Пускай зело ты строг  
и знаменит,  
ничто «на случай» строк  
мне не затмит.

Где лучший из Левшей  
(который Лось)?  
Не выгнан ли взащей?  
Не довелось  
ему (а как хотел!)  
собрать их вместе. Ось!  
Коль Леша не у дел —  
есть я, небось.

Мерси за томик станс.  
Стыдом — дотла:  
прости за резистанс  
на роль дупла.  
Зря только круг обид,  
на срез окна  
(из самых горьких — вид  
«почти-Младенца» на

чужих руках почти-  
поэта), я  
с трудом могла идти,  
вопрос тая,  
вперед, в обход молвы,  
вослед тебе.  
Стихи всегда правы.  
Ну что ж, М. Б.

Замечу, впрочем, что ни эти и никакие другие мои стенания по этому поводу не сработали, и стихи «на случай» так и не собраны (то есть собраны наверняка, но до печатного станка не добрались до сих пор, а жаль).

Уезжая летом в поле, Эдик всякий раз шутиливо вверял меня покровительству Иосифа, который обязывался меня пасти, не давать скучать, а также блюсти мою нравственность. В эту игру Иосиф включался охотно и ревностно выполнял свои обязанности. Вспоминаю его визит уже в одиннадцатом часу вече-

ра: оказывается, он приходил в восемь, но меня еще не было, так что он сделал несколько кругов по Голодаю, прежде чем еще раз проверить, явилась ли я домой. За это время с велосипедом что-то случилось, пришлось взгромоздить его в лифт, подняться на восьмой этаж и взять у меня какие-то инструменты. В другой раз я нашла под дверью записку на обрывке сигаретной пачки: «Хотел бы я, Рада, чтобы причину твоего отсутствия Эд и я могли счесть уважительной. *Иосиф*».

В эту пастьбу (есть такое слово?) входила и «культурная программа». Иосиф приносил пластинки со своей любимой музыкой, которую я вовсе не была в состоянии оценить: всегда (и сейчас тоже) любила Чайковского и Бетховена, которые никоим образом не принадлежали к сфере интересов Иосифа. Приходится признать, что на мои музыкальные вкусы он никоим образом не повлиял, в отличие от поэтических.

Однажды летним вечером Иосиф привел меня к Уфлянду, и они оба читали друг другу стихи. Какие именно, я не запомнила, потому что ужасно всегда смущалась на чужой территории.

А 25 июня 1966 года (дату привожу, потому что программка перед глазами) Иосиф взял меня с собой в Филармонию на вечер Шостаковича. В первом отделении был виолончельный концерт с Натальей Шаховской, а во втором, которого все особенно ждали, — Кирилл Кондрашин дирижировал Тринадцатой симфонией, впервые исполняемой тогда в Ленинграде. В фойе мы прежде всего наткнулись на Евгения Евтушенко: это был и его праздник как соавтора симфонии. Я с ним знакома не была. «Вот, — подвел меня к нему Иосиф и неожиданно отрекомендовал: — это Рада, жена моего лучшего друга». Пока я пыталась осмыслить эту информацию, Иосиф счел, что его миссия закончена, и радостно убежал, избавившись одновременно от нас обоих. К моей досаде, Евтушенко подхватил данную мне характеристику и заявил: вот, раз вы жена его друга, я вам очень советую убедить Иосифа, чтобы он был более осторожен. Он лезет на рожон, хотя при другом поведении его литературная судьба могла стать гораздо успешней. Вот тут как раз я не ручаюсь за точность слов, но ручаюсь за призыв — как-то «обуздать» Иоси-

фа. Я была так ошарашена, что сумела только сказать: «Ну Ося — это кошка, которая ходит сама по себе, и никто не может ничего изменить». Антракт закончился. Больше я Евтушенко не видела, но имя его нередко всплывало в наших разговорах.

Так, однажды Иосиф рассказывал, как на подмосковную дачу, где собралась большая компания, влетел, потирая руки, Евтушенко со словами: «Последние золотые денечки дарует нам красавица-осень» (цитирую точно). Я расхохоталась: ну не может быть! На что Ося даже рассердился на меня: ты полагаешь, что я мог такое придумать?! В другой раз, тоже в Москве, Иосиф был свидетелем интервью, которое у Евтушенко брали какие-то иностранные журналисты. На стандартный вопрос о любимых поэтах тот заученно сказал: их десять (вот тут точно не помню — может быть, восемь или двенадцать), но во всяком случае, на одном из почетных мест назвал Бродского. Тогда интервьюеры перевели свое внимание на Иосифа: а ваши? Их пять, — ответил Иосиф с той же интонацией и, обернувшись к Евтушенко, добавил: извините, Женя, вас здесь не будет.

Иногда какие-то эпизоды всплывают в памяти при чтении воспоминаний других людей. Вот прочла у Евтушенко: «Аксенов и я добились у редактора «Юности» Полевого визы на опубликование восьми стихотворений Бродского. Его судьба могла измениться. Но люди выбирают судьбу сами. Когда Полевой перед самым выходом номера попросил исправить лишь одну строчку «мой веселый, мой пьющий народ» или снять одно из восьми стихотворений, Бродский отказался».

Мне немного иначе запомнился рассказ Иосифа, по возвращении из Москвы, об этом свидании с Полевым. Тогда я впервые узнала понятие «паровозика», то есть одного какого-то стихотворения из предлагаемой подборки, которое имело шансы быть пропущенным цензурой, а за ним уже можно было проташить и остальные. В подборке для «Юности» таким паровозиком и было стихотворение, начинавшееся словами: «Мой народ, не склонивший своей головы, мой народ, сохранивший повадку травы...» Называлось оно тогда одним словом: «Народ». Ося сказал, что Полевой долго кряхтел над ним и наконец предложил: «Ну давайте назовем „Русский народ“». Иосифу это от-

нюдь не понравилось. Причем по сути, как он нам объяснил, возражений не возникало: «пью великую речь, растворяюсь в ее языке» — разумеется, это русская речь, русский язык; народ, «сохранивший способность на северном камне расти», конечно же, русский народ. Просто в этой замене была какая-то натуга, неестественность, нарочитость, и принимать предложение главного редактора Иосифу очень не хотелось. Но столько доброжелателей старались, чтобы стихи увидели свет в «Юности» (в те годы это был очень заметный, даже престижный, журнал), что Иосиф согласился: давайте. Но Полевой все еще не был доволен, подборку в номер не подписывал и лишь вертел карандаш в пальцах. Наконец, еще после некоторого раздумья, изрек новый вариант: нет, лучше назвать «Советский народ». Вот на это, рассказывает Иосиф, я уже никак не мог пойти! И народа такого нет. Публикация сорвалась.

В конечном счете Иосиф меня не уберег, и мы с Эдиком расстались. Совершенно не склонная к мистике, я все же не могу не вспомнить о дурном предзнаменовании для этого раннего брака. Специально приглашенный на свадьбу фотограф нащелкал там целую пленку, но она оказалась бракованной — не вышло ни одного кадра! Это ли не предупреждение о том, что наш брак — не жилец? Но, кроме всего прочего, это был уникальный случай запечатлеть Иосифа, который явился в ресторан в ватнике, чем вызвал сильное негодование в рядах старшей части гостей. Молодые, напротив, были в восторге — в этом ватнике они учуяли им самим недоступные божественную свободу и презрение к условностям. Причем мы с Эдиком видели Иосифа немного раньше в тот же день, 9 февраля 1963 года, когда он пришел в Дзержинский ЗАГС засвидетельствовать наш брак. Тогда он был одет вполне цивильно и даже подивился, почему это я в красном платье? Ну не объяснять же ему, что много чести для какого-то ЗАГСа трепать приготовленное на вечер длинное белое, подвенечное. Поскольку в стихах Бродского можно найти все слова словаря, я просто процитировала ему строки из «Холмов»:

В красном, красном вагоне  
с красных, красных путей,  
в красном, красном бидоне —  
красных поить детей.

Он был вполне удовлетворен этим ответом. Где-то в архивах должен, наверное, до сих пор храниться этот акт гражданского состояния с подписью Иосифа Бродского. Интересно, что он сам об этом не забыл, судя по тому, что через полтора года, из Норенской, пишет: «Но вот вы-то — свиньи: не пишете мне совсем ничего. А я-то, дурак, приперся тогда с Альтварг в ЗАГС! Думал — век будут помнить. Шутки — шутками, но ведь вы же еще и обещали».

Как это ни смешно, но когда я все-таки ушла от Эдика, Иосиф искренне обиделся за свою роль стража, плохо выполненную, и даже попытался провести со мной разъяснительную беседу, напирая на положительные (совершенно объективно) качества моего мужа. Растаял он, когда на его настоятельное: «Думай, Радка, думай» я совершенно искренно и, как теперь понимаю, обезоруживающе, ответила: «Я не умею...»

Но то, что я ускользнула из-под его контроля, он не забыл и года через два, с явственно мстительной интонацией, объявил мне, что «видел Эдика...with a new wife. Знаешь, она мне понравилась». С каким-то даже вызовом. Это меня ничуть не обескуражило, и я довольно равнодушно ответила: «Да, она всем нравится». Сама я познакомилась с Леной несколько лет спустя, перед самым отъездом, и тогда я смогла бы разделить с Иосифом его восхищение, да его уже не было в стране. С Леной мы подружились и дружим до сих пор. Очень красивая, умная, очаровательная женщина. Я ее привела и к родителям Иосифа на Пестеля. Лена с Эдиком и мы с Володей эмигрировали почти одновременно, вместе какое-то время прожили в Риме, но когда туда прибыл Иосиф, они уже уехали в Штаты, жили сначала в Юте, а потом в Новой Мексике. А поскольку Иосиф, кажется, посетил (читал стихи или принимал участие в конференциях) все штаты, которые когда-то с таким упорством перечислял, то с Блумштейнами он в Америке виделся: сначала

ла в Солт-Лейк-Сити, а потом и в Альбукерке. Лена мне подробно и забавно рассказывала об этих встречах, и, надеюсь, сама о них напишет. В Альбукерке (в 1992 году?) она сделала смешные фотографии Иосифа и Марии — там он дурачится и примеряет какой-то индейский меховой головной убор.

После развода я некоторое время жила вместе с Людой у общей подруги в старом доме на Владимирском проспекте. Стояло ужасно жаркое лето, так что все встречи переносились на поздний вечер, когда жара спадала. Иосиф и М. Б. пришли к нам уже около одиннадцати, оба быстро умылись над раковиной нашей коммунальной кухни (ванные были тогда еще роскошью). М. Б. вновь заструила поток доказательств несравненной своей красоты, а Иосиф, освежившись, пришел в прекрасное расположение духа и выразил желание почитать и записать на магнитофон «стишки». Магнитофонная запись вовсе не требовала такой громкости голоса, какую развил тогда Иосиф, какую ему диктовали строчки из «Речи о пролитом молоке», «Остановки в пустыне» или «На смерть Элиота». Записанную тогда пленку мы потом прокручивали бесчисленное количество раз, но произносимые в тот вечер стихи ни я, ни Люда воспринимать были неспособны. К счастью, мы их слышали не впервые, очень их любили и имели в своем распоряжении тексты, но на этот раз мы думали только о том, какие они длинные! Ведь все окна в нашей комнате были, конечно, распахнуты настежь, время позднее, всем насельникам большого двора завтра нужно было на работу, а мы там жили на птичьих правах и сейчас дрожали, что в любой момент могут раздаться грозные выкрики из типичного питерского колодца, который Иосиф мощно вопрошал, «от чего мы больше далеки — от православья или эллинизма», извещал о том, что «каждая могила — край земли» и заверял, что «деньги прячутся в сейфах, в банках, в полу, в чулках, в потолочных балках...». Словом, мы сидели ни живы ни мертвы — не помог преподанный Люде урок у разведенного моста, мы просто сильно злились на самих себя — за то, что так боимся соседей и тем лишаем себя редкого и огромного удовольствия.



Аэропорт «Пулково». 4 июня 1972 г. Фото М. Мильчика

А уже из Парижа я писала Люде письма, в которых все пространство между «здравствуй» и «до свиданья» заполняла, тщательно — в обход цензуры — переписывая новые стихи Иосифа, которые она иным способом не могла, еще лет десять, получить: «Пятая годовщина», «Колыбельная Трескового мыса»... Перед моим отъездом Люда перепечатала не только все собранные стихотворения, но и переводы Иосифа. Этот, последний, том мне вывезти не удалось. Однажды ко мне обратился Игорь Ефимов с предложением издать переводы с разных языков с параллельными текстами, замечательная идея, только, увы, у меня тогда нечего было ему предложить. Получила я эти листочки лишь много лет спустя, когда это стало уже неактуально. Тут и пьеса Стоппарда, и много стихов Джона Донна (в том числе и варианты к «Элегии на смерть леди Мархэм»), Константина Кавафиса, Эндрю Марвелла.

И среди этих листочков нахожу копию недатированного письма Иосифа, адресованного «милой Стелле» (очевидно, редактору издательства). В нем говорится:

«Посылая Вам сделанные исправления и, опасаясь, что они Вас не вполне удовлетворят, хочу сказать следующее.

В тех немногих случаях, когда я отходил от текста (особенно в Заговоренных дрожках), я сделал это вовсе не по неспособности сочинить нечто адекватное оригиналу, а исходя из представления о читателе, которому вообще следует давать елико возможно больше лазеек в новом для него мире. А мир Заговоренных дрожек для русского читателя, в общем, новый. Для поляка магистр черной магии, Краковский пейзаж, латынь и потусторонние шутки могут быть немотивированными — все это известно с детства.

А для нашего читателя это немного темновато. Поэтому буквализм в переводе этих стихов, по-моему, рискован. Чуть длинней, чуть живописней — зато понятней. И (опять же по-моему) малость пластичней. Прочтя этот перевод, я думаю, читатель не станет думать о Галчинском хуже, а этого-то и надо.

У Вас, впрочем, могут быть и принципиальные соображения, принципиальные идеи о переводе, о том, каким он должен



быть. Ну — как я понимаю — Вы сможете их осуществить: Вы сами говорили о «конкурирующих переводах». Я ей-богу не возражаю.

Что же касается Коня в Театре, то я, честное слово, не знаю, что там следует менять. По-моему, ничего не надо. «Наклонился слева» — понятно, кривотолков не вызовет. На две строчки, кажется, больше. Ну так за них можно ведь не платить. По-моему, ведь вообще платят, исходя из кол-ва строк в оригинале.

Простите, что не стал переводить Седьмое небо, но это посредственные, на мой взгляд, стихи, хоть и длинные, а значит — выгодные.

И чувствую, и не чувствую себя виноватым

*Ваш (И. Бродский)»*

О решении уехать Иосиф сообщил мне уже где-то в начале мая. В то время я очень увлекалась разными пресмыкающимися и земноводными, соорудила два террариума, где жили задумчивая саламандра по кличке Саломея, полуметровый желтопузик и несколько прелестных гекконов. Всю эту живность, абсолютно безвредную и, на мой взгляд, очаровательную, Иосиф рассматривал с расстояния не меньше метра, опасно и без всякого энтузиазма. Конечно, мои звери ничуть не походили на любезных его сердцу кошек, что шастают по дому, все время попадаясь под ноги, и роняют повсюду шерсть и слюну! Мне показалось, что Иосиф даже на минуту забыл о занимавших его в связи с близким отъездом проблемах — настолько отвратительное впечатление произвел на него мой террариум. Ему и так было очень некогда, но тут он особенно заторопился уходить, выразив свое отношение к моему хобби таким образом: «Если бы я был мужчиной, я бы этого не вынес». Тут уж я обиделась — за своих питомцев и за эту формулировку, на которую он не имел никаких оснований — и ответила в пандан: «Видишь, как хорошо, что ты не мужчина».

Этим обменом любезностей завершилась наша последняя встреча в отечестве (проводы в Пулково не в счет).

С июня 1972-го новости об Иосифе я получала только на Пестеля. В силу дикости и интровертности характера никогда не приходила туда 24 мая, на традиционный сбор, справлять день рождения, стеснялась, хотя знала, что Иосиф обязательно звонил в этот вечер домой, но пересилить себя не могла. В другие дни приходила нередко, послушать рассказы Марии Моисеевны и Александра Ивановича про Осино местонахождение и звонки из разных городов и стран, звучавших волшебным и таинственным. Мария Моисеевна вообще хорошо ко мне относилась, потому что любила Эдика, такого обстоятельного и положительного, и считала, что он «хорошо влияет на Иосифа». Но благосклонно потом отнеслась и к Володе и очень понимающе к нашему отъезду. Когда мы пришли прощаться, она достала из буфета и подарила на память эмалевую солонку, которая и сейчас у меня, и я с удовольствием передала бы ее Нюше, если ее интересует отцовская родня.

За три года, которые нам оставались до эмиграции, иногда, но очень редко, доходили и стихи. Помню разговор по поводу «Лагуны» с одним нашим общим приятелем, большим поклонником Иосифа, который очень сокрушался, полагая, будто слово «граппа» есть чистый галлицизм и «иностранные» слова будут занимать все больше места в его поэзии, замещая отечественные. Я же доказывала, что граппу встречала много раз в русских текстах и что Иосиф вполне мог бы употребить это слово и до отъезда. (Забавно, что на днях я случайно обнаружила на сайте, предлагавшем туристические поездки состоятельным россиянам, в разделе про Италию всю строфу про «постояльца, несущего в кармане граппу», после чего было сказано: «Бормоча эти строки из Бродского, откупорьте бутылку».)

Мой второй брак принес мне друзей нового призыва, это были главным образом сценаристы и режиссеры, которые закончили ВГИК уже будучи профессионалами в какой-то иной области. Тогда было очень распространено получение второго высшего образования. Так случилось, что в этой среде мне уже пришлось

культуртрегерствовать: Бродского, который к тому времени эмигрировал, они не знали или знали мало, я давала им свои кассеты с записями стихов, и они их часто слушали. Одна наша компания снимала комнату в доме, где ниже этажом жил какой-то отставной военный, ненавидящий молодежь и ее образ жизни. Он регулярно писал жалобы в домоуправление, вел для этого специальный дневник злодеяний, и нашим друзьям приходилось ходить объясняться. В одной такой кляузе значилось: «Пришли в 10 часов. Молились». Это была его интерпретация услышанной сквозь перекрытие магнитофонной записи Иосифа!

Все, кто слышал, как Иосиф читает свои стихи, никогда не забудут его манеру чтения, не спутают ее ни с чем другим. Это не удивительно. Удивительно, что многие называют эту манеру пением, заклинанием, ворожбой, чуть ли не камланием. Мне все это ужасно странно слышать. На мой взгляд, это был абсолютно адекватный и единственно возможный способ донести до слушателей смысл стихотворения, точно передать то, что поэт хотел в нем сказать. Как мы не смотрим на лица пианистов или скрипачей, которые искажаются — вплоть до гримасы — во время исполнения, а наслаждаемся результатом усилий, так и мелодика стихотворения Бродского — лишь инструмент для извлечения смысла.

Когда видишь его стихи написанными, часто приходится даже кропотливо и внимательно распутывать грамматические формы, находить связи между словами, нередко отстоящими друг от друга на три-четыре строки, пройдя сквозь огромное количество анжамбеманов, вводных слов и целых предложений. Видя текст стихотворения на бумаге, трудно даже вообразить, что его можно прочесть вслух без потерь. И это, действительно, почти никому, кроме автора, не удавалось. Нельзя, конечно, исключить, что однажды найдется человек, у которого получится. Но то, что делается сегодня, надежды внушает мало: никого из читающих с эстрады смысл стихотворения не заботит и донести его до слушателя они не умеют, просто не обращают на него внимания, безжалостно его ощипывая, или сами не понимают, что читают. Причем они вовсе не халтурят, а очень стараются. Но до сих пор никто, даже самые известные наши

актеры (они еще меньше остальных) с этим не справились. А может, и не могут справиться именно в силу своей актерской природы. Совершенно согласна со словами Веры Павловой: «Актеры вносят лишнее и упускают необходимое». Она же сказала, что если уж стихи читает не автор, то пусть это хотя бы будет другой поэт (несколько примеров такого удачного чтения я знаю, но оно было не для записи, не для дисков и досталось лишь присутствующим в комнате).

Когда-то я была уверена, что и Цветаеву никто прочесть не сможет, и вдруг оказалась свидетелем чуда — однажды в Ленинградском университете стихи и прозу Цветаевой читала Цецилия Мансурова: это было поразительное попадание, ее интонация и точность произнесения покорили зрителей, и зрителей искушенных, ибо когда Мансурова один раз запнулась, зал хором подсказал ей продолжение. Прошло несколько десятилетий, с тех пор ничего подобного услышать не довелось, но это выступление я помню, как если бы было вчера. При том что никаких записей голоса самой Цветаевой не сохранилось.

Слава богу, от Иосифа записи остались. Я вовсе не считаю, что нужно подражать его чтению, да это и невозможно, но что можно — и нужно — всегда использовать его записи в фильмах: когда звучит закадровый голос, это должен быть голос Бродского, и никого иного! Последний фильм, который я видела, документальный «В плену у ангелов. Письмо в бутылке» смотреть было просто невыносимо: стихи якобы влюбленного поэта, произносимые за кадром старательным и поразительно чуждым тексту голосом, сродни были звуку ножа по тарелке. Регулярно, два раза в год, сообщает о Бродском телевизионный «Календарь культурных событий» — в день его рождения и смерти. Всякий раз информация сопровождается невнятным произнесением каких-то слов, ну никак не складывающихся в поэтические строчки, за которые себя выдают. Больше всего это напоминает чтение букваря нетвердо затвердившими буквы первоклассниками.

Когда Иосиф читает свои стихи, он облегчает слушателям работу понимания смысла, и как не быть ему за это благодарным! Я говорю отнюдь не только о себе, а о многих слышавших его — в домашней обстановке или в больших залах. Несмотря на жуткую дикцию, он читал исключительно внятно и очень «интонационно» верно — ведь даже слушая незнакомую мелодию, легко понять, есть ли у поющего музыкальный слух. Так и здесь: при первом слушании сложных и далеко не сразу понятных стихов немедленно возникало впечатление, что это — «правильное» чтение.

Для тех, кто его слушал раньше, чем читал на бумаге, — его голос всегда будет сопровождать все последующие чтения глазами. А тем, кто полюбил его стихи по книгам, можно пожелать проверить собственные ощущения, собственное, всегда внутренне возникающее их звучание, — с авторским чтением, которое наверняка добавит стихам новые нюансы и доставит новое удовольствие.

В замечательно интересной книге Елены Петрушанской «Музыкальный мир Иосифа Бродского» указывается, в частности, на то, что с годами поэту становились все ближе «установка на *нейтральность* и *монотонность* интонации, устранение экспансивного *лирического элемента*, вокальной красоты в пользу голоса как инструмента *правды*».

Но ведь с годами и стихи становились другими! Поэтому проследить изменения в манере чтения за тридцать лет — так же увлекательно, как сравнивать самое поэтику раннего и позднего Бродского.

В молодости он буквально выпевал стихи и даже раскачивался в такт, например, читая «Письмо к А. Д.», и этому способствовали сами лексические повторы: «Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова, все равно я пишу...», «Все равно, все равно за тобой не угнаться, все равно никогда, все равно никогда не подняться...» И дальше: «До свиданья! Прощай! Там не ты — это кто-то другая. До свиданья, прощай! До свиданья, моя дорогая».

Эти строки совершенно невозможно не пропеть, их иначе и не произнести, эту мелодию нужно выводить, накручивая, наматывая, доводя ее, как это делал Иосиф, до финального всплеска: «Корабле-е-е-м забыва-а-анья...» и резко обрывая: «в широкое море. Забвенья».

Так же он захлебывался при чтении «Рождественского романа», которое я слышала многократно у себя дома и на различных поэтических вечерах (на моей кассете запись 1962 года). И, опять-таки, в этом стихе все плывет и все плывут, в необъяснимой тоске, в замоскворецкой мгле, а мед огней льется, а снежинки на вагоне дрожат — и все это есть в чтении Иосифа, в его захлебе, словно он вот сейчас, при нас, сочинил этот роман и сам упоен открывшейся ему картиной ночной столицы.

В «Большой элегии Джону Донну» Иосиф тоже выпевал весь огромный долгий перечень уснувших предметов, так органично переливающийся, что, кажется, мог длиться бесконечно, и раскачивался в такт ритму, выделяя ударные слоги:

Ведь если Можно с кем-то Жизнь делить,  
То кто же С нами нашу Смерть Разделит?

Этим стихотворением Ося буквально упивался. Однажды он прочел его нам просто два раза подряд, с той же интенсивностью, громкостью, напором. А вскоре после ссылки он мне сказал: «Тебе до сих пор нравится?» — «А тебе нет?» — «Да...но теперь мне кажется, что там слишком много таких слов, как тьма, тишина...» Я не рискнула в ответ на это прочесть ему пародию, написанную одним нашим приятелем, из которой сейчас помню такие строки:

Рыдают все: красавица, урод,  
Гаганова, Гагарин, Евтушенко,  
орел на небе, в подземелье крот,  
на кухне кран, в бульоне плачут гренки...

А может, зря не прочла, Иосиф всегда умел оценить чужую шутку.

Начинал он чтение, как правило, спокойно, медленно, даже глухо, словно примериваясь к тональности, например («Другу стихотворцу»): «Нет, не посетует Муза...» Но каждая следующая строфа произносилась все громче, ведь недаром

певец возвышает  
голос — на час, на мгновенье,  
криком своим заглушает  
собственный ужас забвенья.

Распевность присутствовала и в его чтении стихов из «Школьной антологии». Но и здесь главным было — донесение смысла, никакого актерского «переживания», никакого нарочитого педалирования, только модуляции голоса, который мог справиться с труднейшим синтаксисом и передать все заключенное в словах — и в паузах между словами — настроение. Ну как ему удавалось так прочесть строку:

Его пейзажи походили на  
– на натюрморт,

чтобы в этих трех «на» подряд слышалась вся ирония ситуации!

Или заключительные строки из другого стихотворения этого цикла —

из-за стены несутся ключья вальса  
и дождь шумит по битым кирпичам

— прочесть так, что голос оставался бесстрастным и вместе с тем исполненным такой безнадежности, невозвратности ушедшего навсегда, что у слушателей наворачивались слезы.

Короткие фразы в стихотворении «Два часа в резервуаре» («Есть мистика. Есть вера. Есть Господь. Есть разница меж них. И есть единство») Иосиф и читал коротко, рубленно, энергично. А чуть дальше четко отделял друг от друга, впечатывал

уже не фразы, а каждое слово в строках: «Таков был доктор Фауст. Таковы Марло и Гете, Томас Манн и масса...», а строфу про ребус, который задал Гете, заключал низко-низко, с деланным ужасом: «И мы теперь, матрозен, на мели».

А как он замечательно читает «Старые английские песни», особенно мою любимую «Зимнюю свадьбу»!

Совсем по-другому Иосиф читал поздние стихи. Глухо, отстраненно, почти бесстрастно:

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.

Эти строки не спеть. Идет неторопливый, чуть ли не прозаический рассказ, несмотря на зарифмованные терцины, а по мере чтения ритм берет свое, строчки уже скандируются, рифмы настойчиво выделяются, а никогда не изменяющее поэту чувство юмора отчетливо звучит в последних словах:

главным образом — рот.

С удовольствием читал свои переводы. Стихи Галчинского были одними из первых, Иосиф требовал от нас выслушивать и польский текст, хотя я лишь с трудом разбирала письменный польский, но ничего не понимала на слух. Да, мы убеждались, что Иосиф выдержал размер и мелодию оригинала, но главным были все-таки его чеканные повторы:

Едет в коляске заговоренной  
с панной влюбленной  
моряк влюбленный...

или все убыстрявшийся темп в перечне разнообразных существительных:

Но куда существуют  
в мире тракты и дорожки,  
фаэтоны, санки, дрожки,  
кони, седла, сбруя, дышло,  
небеса, поля и Висла...



— словом, вся эта веселая мистика, доносимая до нас звучным, полным иронии голосом.

Эта ирония совершенно исчезала, уходила, уступая место скорбной и патетической интонации, когда Иосиф читал «Польское знамя»: начальные строки — глухо и бесстрастно, затем в полную силу, и в конце даже с надрывом, отвечающим трагическому пафосу стихотворения.

А лет на двадцать позже он великолепно читал свои переводы глав из «Горацио», поэмы Хаима Плуцика.

Много я слышала в его чтении и чужих стихов — и вовсе не в его обычной манере: читал всякий раз так, как требовало само стихотворение. С удовольствием читал Уфлянда («Помню, в бытность мою девицею» и «Меняется страна Америка»), а также английских поэтов в переводах Андрея Сергеева.

Первым для нас из этих переводов было стихотворение Лоренса Даррелла «Баллада о лорде Нельсоне». Иосиф читал его самозабвенно, заразил нас своим восторгом, и я не представляю, как можно читать эти стихи иначе, чем он. И сейчас слышу его голос:

Его сердце было мягче, чем яичный желток,  
Любить он не умел, а просить он не мог,  
Пока он не полез за парой женских ног  
На борт Виктории, О!

При этом Иосиф, конечно, произносил это «О» на английский манер. «Оу!» — и с каждой строфой (а их всего двенадцать) все с большим нажимом:

Французы же увидели, что к ним спешит  
Единственный глаз и жениховский вид,  
Пристегнут рукав, а взгляд деловит  
На борту Виктории, О!

Так что к финалу он подходил уже в совершенной эйфории:

Если б мы любили женщин так же, как он,  
Было б больше счастья для мужей и жен,  
И на морях царил бы геройский тон  
Виктории, Виктории, О!

Последнее «Оу!» было уж совсем торжествующим и ликующим.

Переводами Андрея Сергеева он всегда восхищался и с удовольствием их популяризировал — много читал, раздавал копии.

Ни живого чтения, ни записей Иосифа после 1990 года я не слышала. И значит, не знаю в его исполнении ни «Письмо в оазис» (опять же одно из любимых), ни «Пейзаж с наводнением», ни «Театральное» (а как, наверное, он замечательно это читал!), ни «Меня упрекали во всем, кроме погоды...». И чувствую, как этим обделена, как мне не хватает этой подсказки, подпорки для понимания, да и просто наслаждения от произносимых автором слов... Пришлось (по Штейгеру) «жить как все, но самому...», привыкать лишь читать, но не слышать стихи Иосифа.

Недавно в «Истории искусств» Гомбриха я наткнулась на описание картины Яна Стена «Крестины», сначала рассказан сюжет, а потом такая фраза: «...фигура показанной со спины девушки на переднем плане — великолепный кусок живописи». И я вспомнила, что такой опыт у меня тоже был: я стояла у себя в кухне, листая новый номер журнала «Континент» со стихами Иосифа, начала почему-то с конца подборки, прочла «В кафе» и «Открытку из Лиссабона», а потом — «Дождь в августе». И вдруг я выпала из реальности, почувствовала, как сдвинулись, сместились пласты времени, и оказалась внутри стихотворения, где живет сцена из прошлого, воссозданная с исключительной точностью. Я просто была в этой комнате с накрытым столом, когда небо резко потемнело и начался дождь, и увидела всех трех персонажей сцены, которая когда-то была обыденной, а теперь ужасно, невыносимо трагичной. Здесь я уже много раз говорила про любимые стихи, но вот на самом деле самое любимое — это «Дождь в августе», волшебное сти-



1980-е. Фото М. Лемхина

хотворение, великолепный кусок поэзии, подлинной и абсолютной, как синяя юбка с красным корсажем на картине Стена.

Магнитофонных записей, к счастью, сохранилось очень много. Они разного качества, но и на старых лентах звучит все тот же моментально узнаваемый голос. По молодости я, конечно, совсем не понимала ценности этих магнитных лент. При том что Иосиф читал охотно и я имела возможность составить полную фонотеку его стихов 1962—1972 годов. Но, увы, этой возможностью не воспользовалась — тогда казалось, что Ося будет всегда и всегда будет читать, как только придет в гости, и снова, как часто бывало, будет смешно повторять название стихотворения, как будто с первого раза он не «заводился»: «Другу стихотворцу. Хм. Другу стихотворцу». Или «Одной поэтессе. Ну да — одной поэтессе».

Когда Иосиф сделал перевод «Лили Марлен» — он тоже с удовольствием пропел ее на магнитофон, запись благополучно перебралась в Париж, и когда Вероника поехала в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии, я попросила ее передать Иосифу эту памятную кассету. Сейчас она уже широко распространена, но тогда это был, думаю, единственный экземпляр. Судя по всему подарок пришелся Иосифу по вкусу: как сказала Вероника, прослушав запись, он тут же перемотал пленку, чтобы послушать вторично.

Я всегда опасалась, что частое чтение вслух может «износить» стихотворение, изменить отношение к нему автора и поэтому прозвучать не так, как при первом с ним знакомстве. Сплошь и рядом это случалось у бардов — уже не так (и, честно говоря, много хуже) пел на поздних концертах Высоцкий свои песни десятилетней давности. И Галич на выступлениях в Париже уже не доносил до слушателя ни «Леночку», ни «Тонечку», ни «товарищ Парамонову», хотя по-прежнему великолепно исполнял недавно написанные песни. Поэтому я всегда предпочитаю записи, сделанные как можно ближе ко времени сочинения. И Иосиф тоже не исключение: могу сравнить два его чте-

ния стихотворения «Волхвы забудут адрес твой...» с интервалом в 25 лет! Безоговорочно отдаю предпочтение первой записи.

На Мойке в 1962 году у нас был огромный, неповоротливый магнитофон марки Гинтарас, разумеется, пленочный. Пленка все время рвалась, ее склеивали — смазывали ацетоном концы и соединяли внахлест, она снова рвалась по месту склейки, приходилось обрезать концы все больше и больше, пока в конце концов терялся слог или даже целое слово. Как-то Иосиф пришел к нам настроенный читать и записать стихи. Но мы в тот вечер уходили в гости, в очередную геологическую компанию, отменить свой поход не могли, да и не хотели — табель о рангах тогда еще совсем-совсем не установилась. Так что мы просто включили магнитофон в сеть и оставили ничего не понимавшего в технике Иосифа одного на мою сестру, которой тогда было шестнадцать лет, поручив ей «держат уровень записи вот на этой отметке», — и ушли.

Тогда Иосиф прочел «Северный край», «Садовник в ватнике, как дрозд...», «Обоз», «Сжимающий пайку изгнанья...», «Нет, не посетует муза...». Запись жива и посейчас, сделана она из рук вон плохо, в «Обозе» вообще свист мотора перекрывает голос, но когда я ее слушаю, всякий раз вспоминаю этот вечер и очень явственно передо мной встает Иосиф. Впору добавить: красивый двадцатидвухлетний, но как раз красивым он мне никогда не казался, он имел не тот тип внешности, который производил на меня впечатление. И это обстоятельство меня чрезвычайно устраивало — не дай бог было бы наоборот.

Кстати, никогда я не обращала внимания на цвет его волос — сейчас только и читаешь: «рыжий», «рыжий». А я этого не видела, во всяком случае, для меня это вовсе не было главным. Да, волосы были рыжеватые и ресницы тоже, но его общий вид вовсе не напоминал «циркового рыжего». Прежде всего поражал его взгляд («каждый глаз, как лист березы!») — удивительно прямой, настойчивый, открытый, очень зоркий: он целиком вбирал открывавшуюся ему картину и одновременно различал мельчайшие детали, ее составляющие. Однажды ранней весной мы поехали четвером в Стрельну, просто на несколько ча-

сов, поглядеть на только-только начинающийся ледоход. Было яркое солнце, ослепляюще отражавшееся от льда и корки наста. Глядеть вокруг было просто невозможно, но Иосифу это было явно нипочем: он смотрел прямо на горизонт, показывая нам все новые полыньи и застрявшие во льду обломки деревьев. И так странно мне было годы спустя увидеть Иосифа в очках: «Куда все делось, где ориентир?»

Он легко заливался краской (не румянцем — красными становилось все лицо и шея), и так же быстро она отхлынивала. Ситуации могли быть разные, но вот помню, как он зарделся в ответ на обращенные к нему слова: Иосиф, вы гений! Правда, было это еще года за три до эмиграции, но уже после ссылки.

Однако были минуты, когда лицо Иосифа становилось абсолютно бескровным, белым как бумага. Таким я его видела по меньшей мере трижды. Впервые — когда после вынесения приговора суда к воротам здания на Фонтанке пригнали «воронку», почти вплотную: от створок машины до стены оставалось меньше метра, так что только стоявшие совсем рядом могли видеть осужденного. В этой щели всего лишь на мгновение показался Иосиф и скользнул глазами по собравшимся, вряд ли кого-либо среди них различив, прежде чем скрыться в глубине «воронки». Запомнилось совершенно белое лицо, стиснутые челюсти и немигающий взгляд. Таким же белым, как полотно, было лицо Иосифа на похоронах Ахматовой. И наконец — так же он выглядел в аэропорту, перед тем как Эра Коробова крикнула ему «Иосиф!» и показала «V», победный жест Черчилля. Тогда он улыбнулся, жест повторил, и это был последний запомнившийся мне стоп-кадр, завершавший один период его жизни и возвещавший совсем о другом.

Незадолго до эмиграции мы с Володей познакомились с американским аспирантом-филологом из Мичигана. Он писал в Ленинграде диссертацию, и ему позволялось вывезти некоторое количество рабочих материалов. На его любезное предложение о помощи мы ответили семью переплетенными в веселый ситчик тяжеленными томами: стихи и проза Иосифа. Сюда

вошли его вещи, написанные с 1958-го по 1972-й: практически все, что за этот период перечислено в «Хронологии жизни и творчества». Есть и несколько, в нее не вошедших. Так, я не нашла в «Хронологии...» рассказ «Ужас» («Эту историю рассказал мне солдат-шофер...»), эссе «В наше время читатели стихов в обоих полушариях...», «В те годы со мной чуть было не случилась та же беда...», набросок к биографии («Я хочу рассказать тебе о самом себе...»). Есть и несколько английских стишков: главным образом, лимериков, но не только: “You know, I was never in France...”, “The writing of limeriks is...”, “Don’t talk about yours losses...”, “Poem” (“I felt myself this night too bad...”), “Poem” (“The postcard’s sky is always blue...”), “Beware the young girl called Amanda...”, “Lines on sending Jane Carlyle’s Journals to K. Ch.” (“Though Tom Carlyle...”), “The day which efforts change one season...”, “There was earnest true friend of Korea...”.

В томе, где были собраны детские стихи, посвящения, прозаические отрывки и так далее, находились и десять машинописных страниц через один интервал, без заглавия, начинающиеся строками: «Второй век после нашей эры. Тюрьма — многоэтажная башня, уходящая за облака, вся из хромированной стали». Диалог действующих лиц — Публия и Туллия — обрывался на тираде Публия про легионера, который в этой башне занимался йогой, «мышцы развивал. Брюшной пресс был — во!», и реакцией Туллия: «Кретин». Ну а дальше-то что? Как хочется узнать продолжение! Вот я и сказала Иосифу при встрече в Париже, что у меня хранится набросок пьесы, и неожиданно он заинтересовался — совершенно про нее не помнил — и попросил прислать копию. Это не так-то легко было сделать, поскольку тома были переплетены и с трудом раскрывались для укладки на плоскость копировальной машины. Но как-то скопировала, отправила и была в восторге от того, что на этой основе Иосиф написал пьесу «Мрамор», которая в 1984 году вышла отдельным изданием. Эта ситуация меня сильно вдохновила, настолько, что я еще раз предложила Иосифу свои услуги и послала ему из своего собрания другой драматический отрывок, носящий название «Дерево». Это прелестная абсурдистская пьеса, оставшаяся неоконченной посредине второго действия.

Но увы! Чудо не повторилось, «Дерева» Иосиф, насколько я знаю, не закончил, и мой вклад в русскую словесность ограничился сохранением и переправкой на Запад черновиков к «Мрамору»!

Когда мы с Володей прибыли в Рим (в конце 1975 года), туда вскоре приехал Иосиф, чтобы встретиться с Лешей и Ниной Лифшиц, которые эмигрировали в это же время. И еще с одной парой — Сашей и Аленой М.: в последние месяцы перед эмиграцией они дружили с М. Б., и Иосиф хотел от них узнать о ней последние новости. Нам, увы, нечего было рассказать. Когда мы устраивали отвальную, за несколько дней до отъезда, то специально всех просили: приходите с фотографиями, своими и детей, это разрешалось взять с собой, и мы хотели увезти память (ведь тогда все были уверены, что навсегда расстаются). Народу собралось очень много, набились в небольшую комнату на Гончарной человек сорок, складывали фотоснимки в большую папку, которая потом благополучно осела в Париже. Пришли даже люди, которым вообще-то не полагалось по чину засвечиваться среди отъезжантов. Не было только М. Б. Она пришла на другой день, когда атмосфера уже не была вчерашней приподнятой, была одна только грусть перед неминуемой разлукой, праздник кончился. М. Б. посидела часок, такая же красивая, как всегда, и такая же немногословная. Извлечь какую-либо информацию о ее жизни не удалось ни мне, ни Володе. Тогда, в октябре 1975-го, я видела ее в последний раз. Просимых фотографий она не принесла — единственная. И в Париж, как я ни приглашала, — пока так и не приехала.

С Иосифом мы договорились о встрече в гостинице, он назвал номер своей комнаты. Но когда мы туда пришли, нам сказали, что к постояльцам в номера не пускают, можно только позвонить, чтобы он сам спустился. Через несколько минут Иосиф сбегал по лестнице и на ходу кинул клерку: «I never heard about it». Я онемела — впервые услышав Иосифа, говорящего не по-русски, хотя, конечно, знала, что это давно для него не проблема. Но увидев эту двуязычность, немедленно спросила,



неужели он получает такое же удовольствие от чтения Набокова по-английски, как по-русски. И попала пальцем в небо. За эти три года он совершенно охладел к Набокову, потому и ответил: «Я ни на каком языке не получаю от него удовольствия». Мы тогда только-только открыли для себя «Дар» и «Лолиту», и для нас такое заявление было большой неожиданностью.

Я познакомила Иосифа с Володей и почему-то сразу сообщила, что он написал замечательные пародии на некоторые его стихи, в том числе «Одной поэтессе», и прочла несколько строчек. Иосиф от души рассмеялся. Но все-таки я не решилась посягнуть на святое для него имя и прочесть лучшую, на мой взгляд, Володину пародию, которая начиналась словами «Мыла руки под темной вуалью». Мы пошли гулять по городу, который я еще не успела полюбить (это пришло чуть позже и уже навсегда), ибо только что сюда приехала и была верна Вене, первой любви, которую Рим ничуть не напоминал.

Вообще, в первые месяцы эмиграции, под градом обрушившихся впечатлений, я постоянно их регистрировала в уме, чтобы вечерами долго и подробно передавать в письмах сестре и друзьям. Так что все время была сосредоточена, любила ходить одна и часто даже не слышала обращенных ко мне слов. Вот и из этой прогулки помню только, как Иосиф широким жестом указал мне на витрины: какие шмотки, а, Радка? Вот бы их отправить нашим чувихам, да? Я страшно тосковала по своим подругам, и эта идея не вызвала у меня энтузиазма, поэтому ответила: нет, я бы предпочла, чтобы они все приехали сюда, сами все это увидели и носили здесь. Он это понял. Потом рассказал про беседу с неким чиновником в Вене, в аэропорту или, может быть, в каком-то учреждении иммиграционной службы. Оформляя документы, тот спросил, есть ли у Иосифа дети. «Я ответил, что есть сын, но это, к сожалению, не может быть подтверждено документально». И тогда чиновник сказал: давайте все-таки впишем его, вы знаете, времена меняются, все может измениться и в вашей ситуации. «Я готов был его расцеловать», — заключил Иосиф. (Интересно, как он справился с данными метрики — однажды я поздравила его: ведь сегодня день рождения Андрея, если я правильно помню? Иосиф сму-

щенно потер рукой подбородок: «Вот всегда забываю эту дату... Седьмого? Девятого?»)»

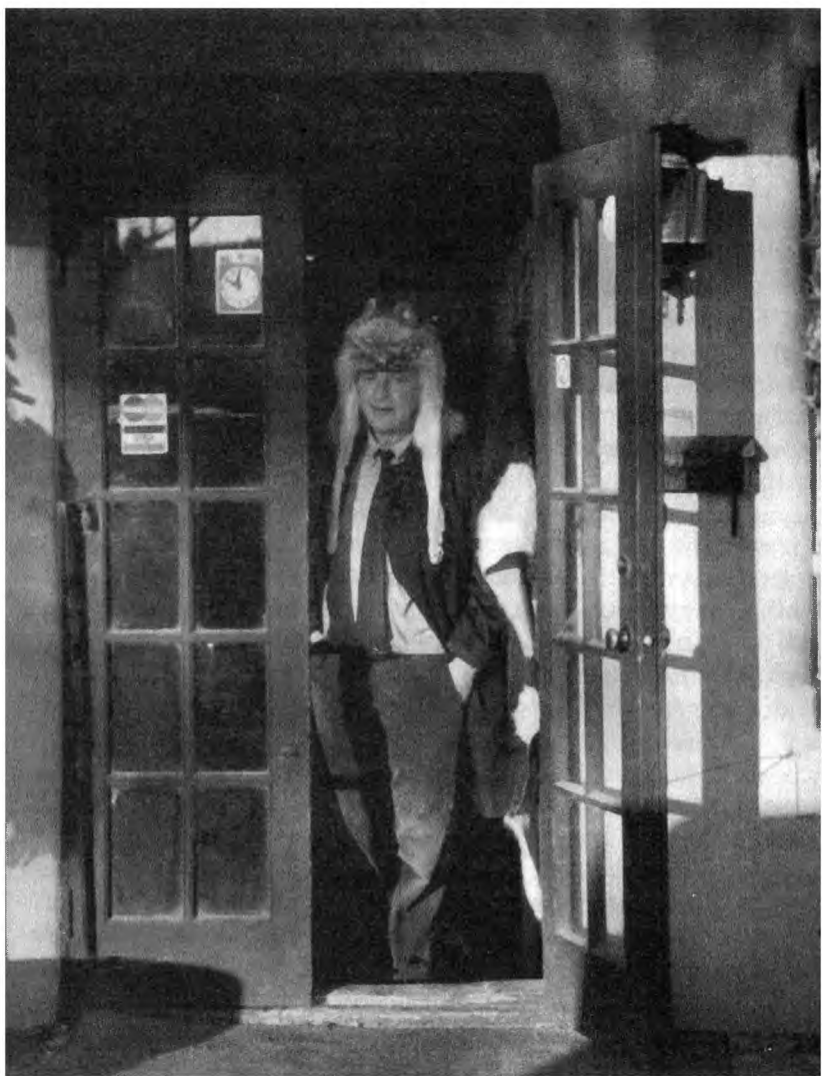
В Риме уже не нужно было просить стихи, мы получили доступ к журналам: «Континенту», «Вестнику РХД», «RLT», где были опубликованы замечательные, новые для нас вещи: «На смерть друга», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», «Венеция», «На смерть Жукова».

Тем не менее, когда мы сели в кафе выпить кофе, я по привычке спросила про новые стихи. «Сейчас», — отозвался Иосиф. Мы вышли из-за столика, сделали несколько шагов по улице и заглянули в какую-то лавку. Через пять минут Иосиф протянул нам теплые и слабо пахнувшие аммиаком листочки: пятнадцать стихотворений из будущего цикла «Часть речи» и только что написанный «Мексиканский дивертисмент». Это была наша первая встреча с чудом ксерокопии. Пусть машины были еще несовершенными, требовали специальной бумаги, мазали, выдавали нечеткий, сероватый шрифт, — но боже мой, какое счастье мгновенно получить точную копию текста! Храню эти листочки наряду с автографами, хотя они уж вовсе не рукотворное изделие, но все-таки — авторская машинопись, и кроме того, лишь первые три главки имеют напечатанные названия, а заглавия остальных еще надписаны от руки: «В отеле Континенталь», «Мексиканский романсеро», «К Евгению», «Заметка для энциклопедии».

**Вот бы в советскую нашу жизнь такую машинку!**

В институте, где я работала, нечто подобное было. Занимала машина целую комнату, которую запирали на замок. Когда заведующий лабораторией поручал мне скопировать для него какую-нибудь статью, он представлял обращение в первый отдел, тамошняя тетка шла вместе со мной к машине и следила за каждым жестом. О каком самиздате могла идти речь в таких условиях!

Приходилось закладывать копирку и стучать на машинке. Сразу же после отъезда Иосифа мне попали в руки его черно-



Бродский – «индеец». 1980-е. Фото Е. Блюмштейн

вые тетради. Я была очень далека от архивной науки и мне даже не пришло в голову их описать: мол, черная клеенчатая или что-то в этом роде, сброшюрованная или переплетенная. Когда много лет спустя Гарик Суперфин взял у меня на выставку Самиздата какие-то тома стихов и письма Иосифа, он представил мне пространное описание взятого, где были заприходованы даже почтовые штемпели! Я же, увы, ничего подобного не сделала, и внешний вид тетрадей, действительно, забылся. Зато я перепечатала их, все подряд, и была счастлива видеть и сличать варианты, разбирать заметки на полях, зачеркнутые строчки, иногда столбики рифм. Старалась распределять на листе строки так, как их написал Иосиф, понимая, что больше этих тетрадей никогда не увижу: твердо помню, что Иосиф перед отъездом распорядился все это отдать М. Б. Совсем недавно я узнала от Льва Лосева, что на самом деле они оказались в одном из западных архивов и, значит, доступны исследователям. Но тогда я даже не подозревала, что сама окажусь в Европе всего через три года.

Поскольку на Западе, живя на разных континентах, мы виделись с Иосифом гораздо реже, а его слава взлетала с космической скоростью, то я далеко не всегда знала о его делах и ситуациях. Часто попадала впросак, всегда абсолютно случайно. Так, однажды я беспечно спросила Иосифа, как ему новые романы Аксенова. Читала я тогда только «Ожог» и «Остров Крым», была ими очень разочарована и обрадовалась, что мнение Иосифа с моим совпадает. И еще уточнила: а другие его вещи тебе нравились? «Да, ранние рассказы нравились», — ответил Иосиф, и я была довольна, что отношение к Аксену у нас было одинаковым. Тогда я понятия не имела (а он ни словом не обмолвился) о хамском пасквиле Аксенова в одном из его многословных и рыхлых романов.

В другой раз ситуация была более серьезной. В начале 1984-го мы сидели в кафе на рю Монж, и я, по просьбе Володи, напомнила Иосифу об отдельном издании «Песен счастливой зимы». Эта идея возникла давным-давно — мы ее предложили еще

в начале 1976 года в Риме и, по его просьбе, выслали ему все входящие в этот цикл стихи для просмотра и обработки. Через три года Иосиф пишет мне из Нью-Йорка: «Что касается „Писем“, то идея, конечно, симпатичная; но все это так давно было, что никаких эмоций проект этот у меня не вызывает. Надо будет еще раз просмотреть рукопись, но как раз руки-то, писанием или пес знает чем занятые, покамест не доходят». В другом письме, адресованном Володе, он снова находит идею «симпатичной», но «состав чересчур фривольный» (?). «Вообще же, обсудим проект этот, когда я окажусь в Европе». Так что при встрече в Париже я снова спросила, как дела с «Песнями счастливой зимы» — мол, мы по-прежнему хотим их издать. Иосиф на меня посмотрел пристально и даже как-то испытующе: «Ты знаешь, что Карл очень болен, у него рак?» По моему пораженному виду он сразу понял, что мне об этом ничего не известно. Не мог он на самом деле подумать, что я, считая, что дни Карла сочтены, предлагаю ему другое издательство! Помолчав, он сказал: «Пока Карл жив, я буду издаваться в Ардисе». И еще чуть позже прибавил: «Да и потом, наверное, тоже...ведь они со мной тогда возились, как с ребенком...» Могу только добавить, что и на первом посмертном сборнике Иосифа, «Пейзаж с наводнением», тоже стоит гриф «Ардиса»...

Всякий раз, когда мне случается проходить мимо этого кафе на рю Монж, я вспоминаю этот разговор и прямой, немигающий, недоверчивый взгляд Иосифа.

Таких стоп-кадров у меня в Париже довольно много, хотя Иосиф город не очень жаловал и бывал здесь не часто. А иногда приезжал, но пребывания своего не афишировал. Языка он не знал и поэтому здесь как-то томился. Но, во всяком случае, никогда Париж ему не казался «скучным и некрасивым». Однажды мы с ним вошли в кафе где-то на бульваре Сен-Жермен, нас встретил официант и повел за собой в поисках места. В те дни в Париже повсюду висели афиши с портретом Марины Влади. Была такая и в глубине кафе. Официант подвел нас к столику, как раз под этой афишей. «Вот так и знал, — сказал Иосиф, — что меня обязательно посадят под Мариной».

В другой раз в другом кафе, на рю дез Эколь, помню Юрия Кублановского, к сборнику которого Иосифом как раз писал послесловие. Оригинал этого послесловия, присланный Володе, с пометками и исправлениями Иосифа, у меня сохранился, так же как и сопровождавшее его письмо от 16 февраля 1983 года, где Иосиф извиняется за задержку, а «Юра пусть простит меня за отсутствие цитат: мы же договаривались, что Вы пришлете анускрипт — но Вы не прислали. Так что уж не взывайте. Если Вы сочтете предисловие это слишком длинным, валяйте режьте, но предварительно все же снесите со мной». Через какое-то время я привела в кафе Наташу Бабицкую (дочь Татьяны Великановой) — исключительно, чтобы доставить ей удовольствие «увидеть поэта вблизи». Потом Иосиф мне сказал: «Какая милая эта Великанова! Давно не видел таких хороших русских лиц». Ну как было не передать заинтересованному лицу этот отзыв! Конечно, он доставил Наташе удовольствие, и она немедленно принялась подсчитывать — какой же процент русской крови она имеет на самом деле.

Иосиф сперва поговорил с Кублановским о книге, но очень скоро озадачил нас вопросом: «А ну — какое отчество у Баратынского?» Как назло, ни я (как уже говорилось, я переставала соображать в тот самый момент, когда Иосиф ко мне обращался), ни Юрий ответить не смогли. Иосиф развеселился, как от удачной шутки: «Я думаю, это называется вытеснение!» (Отчество Баратынского — Абрамович.)

Приведу здесь и еще одно высказывание Иосифа по национальному вопросу, которое он произнес, как всегда очень энергично, не сомневаясь в своей правоте. Он утверждал, что еврейская кровь в полукровках всегда скажется, всегда проявится, — какова бы ни была другая половина. За единственным исключением: только кровь англосаксов поглощает еврейскую целиком, подминает ее под себя и практически устраняет из фенотипа.

Как все, что я слышала от Иосифа, я приняла к сведению и эту сомнительную сентенцию, с которой никак не могу согласиться. В России я знала многих полукровок, у которых — без наличия документов — еврейскую кровь не заподозрил бы

самый прилежный советский кадровик. И напротив, в Америке галахического еврея бывает довольно просто обнаружить, хотя весь его род по отцовской линии идет прямым с «Мэйфлауэра».

В Париже есть места, которые всякий раз напоминают мне о встречах с Иосифом. Так, однажды, ему нужно было куда-то в район Монпарнаса, и я сказала Володе: вот здесь свернешь и — вдоль по Распаевской! Осе это очень понравилось — надо же, мне не пришло в голову: «По Распаевской!»

В один из приездов Иосифа в Париж мы как-то договорились с ним встретиться на остановке автобуса, куда Дита мне привозила четырехлетнего Гришу и, не выходя, ехала дальше, на занятия. Получив Гришу с рук на руки и помахав вслед автобусу, я повернулась и увидела Иосифа, который шел прямо на меня, но даже не поздоровался: «Какая прелесть!» — услышала я его восхищенный возглас при виде моего племянника. К Дите он вообще очень благоволил, всегда передавал ей приветы и с удовольствием общался. Правда, однажды — уже в Париже — сказал, что она похожа на английскую королеву, что Дита вовсе не расценила как комплимент, хотя с точки зрения Иосифа он явно таковым являлся.

Гриня, действительно, был совершенно очаровательным ребенком, но от Иосифа я совсем не ожидала такой реакции — он вовсе не был большим любителем младенцев! Так, однажды я спросила его о детях общих друзей, которых знала по Ленинграду как настоящих херувимов. Он дико на меня посмотрел и заявил с большой страстью: «Дети — жуткие!»

На публичных выступлениях Иосифа в Париже я была, кажется, трижды. Первый раз, в декабре 1977 года, он читал стихи на рю Оливье де Серр, в небольшом зале, принадлежавшем организации РХД (русскому христианскому движению). Народу было не слишком много — до Нобелевской было еще далеко — а прием, оказанный ему публикой, был, я бы сказала, вежливым. Слушателей из «отчества» вообще было тогда в Париже

немного, в зале находились, главным образом, дети эмигрантов первой волны, носители громких, прославленных в истории имен. Иосиф потом говорил, что, подписывая на этом вечере книги, он ощущал себя в Дворянском собрании: сплошные Трубецкие, Голицыны и Волконские!

Про его выступление в Институте славяноведения, десять лет спустя, больше помнятся ответы на вопросы, занявшие значительную часть вечера. На этот раз Нобелевская премия была совсем близка, но все же еще не объявлена, так что огромный интерес, который проявила к Иосифу публика, носил чисто литературный характер. Помнится, что зал, который первоначально приготовили устроители, сразу же оказался мал и тесен, чтение перенесли в большее помещение, но и оно едва вместило всех желающих. К тому времени имя Бродского уже гремело по всей Европе, так что в Париж съехались любители поэзии из разных стран: Голландии, Бельгии, Германии. Накануне выступления Иосиф мне позвонил и попросил принести его книги — с собой у него их, конечно, не было. О чем шла речь, не помню, — уже об «Урании» или еще о «Новых стансах к Августе». Помню только, что начал он как обычно глуховато и негромко, но по ходу чтения увлекся, и кульминацией стало «То не муза воды...». Он так отрешенно произнес «навсегда расстаемся с тобой, дружок», что зал замер, напряженно держал дыхание на требование, почти на крик: «па-сма-три-на-него» и смог выдохнуть, только когда ему разрешили: «а потом сотри».

От третьего вечера, в начале 1990 года, в Ecole Normale Supérieure, лучше всего запомнились новые для меня стихи: «Памяти отца: Австралия», «Представление» и, конечно, «Fin de siècle». До сих пор жалею, что мы с Володей не смогли пойти после этого вечера к Веронике, куда они с Иосифом нас звали. Ведь больше, насколько я знаю, Бродский в Париж не приезжал.

29 апреля 1984 года у меня раздался телефонный звонок. Эра Коробова звонила мне из квартиры Бродских и сообщила, что только что умер Александр Иванович. Нужно было как-то



подготовить Иосифа и лучше всего сделать так, чтобы он узнал эту весть не по телефону, а от какого-то близкого человека, который мог бы приехать к нему лично. В Америке еще была глубокая ночь, так что у нас было время подумать. Я позвонила Веронике, которая нашла выход: сообщить Виктории Швейцер, она живет неподалеку и сможет приехать утром к Иосифу. Он мне перезвонил через несколько часов, словно надеялся, что длинная цепочка телефонных переговоров могла исказить или даже извратить горькое известие, которое мне пришлось подтвердить. Как могла, рассказала, что смерть была мгновенной, такой, о которой люди обычно мечтают — умереть у себя дома, отойти без страданий, еще за несколько минут до кончины разговаривать и даже шутить с приятным человеком. Иосиф знал, что и на похороны его не пустят. Утешить его было нечем. Я только сказала, что сейчас вокруг Александра Ивановича преданные им обоим люди: «Там сейчас Миша, Эра, ну это как будто немножко ты сам...» Неуклюже звучат любые слова в подобных обстоятельствах.

В одном из интервью Иосиф говорит, что «нация, народ, культура во всякий определенный период не могут себе позволить почему-то иметь более чем одного великого поэта. Я думаю, это происходит потому, что человек все время пытается упростить себе духовную задачу. То есть ему приятнее иметь одного поэта, признать одного великим, потому что тогда, в общем, с него снимаются те обязательства, которые искусство на него накладывает».

Пока я этого не прочла — думала как раз противоположное. На мой взгляд, «иметь более чем одного великого поэта» народу гораздо легче, чем нескольких. Когда перечисляешь любимых поэтов, тот факт, что их много, должен даже как-то льстить — вот, мол, как обширна культура нации. Один — выглядит как-то куце. Отсюда любовь к плеядам, к созвездиям. Мы привыкли перечислять через запятую поэтов поколения: Блок, Белый, Бальмонт. Или: Пастернак, Цветаева, Мандельштам. Кучно ложатся поэты-фронтовики; объединяем мы в одну обойму и

послевоенных поэтов; слиты в сознании сразу несколько поэтов оттепели: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Наверное, Иосиф прав и «на этих высотах иерархии не существует», но в его поколении я не могу поставить его имя в строй других, тоже превосходных стихотворцев. При том что с удовольствием читаю и очень люблю довольно многих из них, поэтов просто прекрасных. Если иерархию понимать как лестницу, то на этих высотах ее действительно нет, нельзя расставить всех по ступенькам. И если исключить Иосифа, то прекрасна видна густая поросль поэтов, чьи имена сделали бы честь любому поколению.

Можно представить их и в виде горной гряды из многих равновысоких пиков, отдельно и независимо друг от друга возвышающихся над равниной. Но когда в эту картину вмешивается такое явление, как Иосиф, — она немедленно меняется: этот пик резко вздымает вверх, над другими: высота гряды сохраняется, никуда не девается, но над ней появляется следующий, никем более не достигаемый, единичный уровень. Оказалось, что ни художественное дарование, ни наличие своей философской нити в творчестве, ни масштаб личности сами по себе не выводят на самый верх, не производят такой мощный отрыв — это делает только совокупность всех этих качеств, по определению исключительно редко встречающаяся.

Можно посетовать, что кто-то из этой гряды рискует «в тени Бродского» оказаться недостаточно оцененным современниками, что в этом ему не повезло. Но как же страшно за того, кто пребывает «на этих высотах» и не может ни с кем разделить их ледяное одиночество! Когда мы встретились с Иосифом в Риме три с половиной года спустя после его отъезда и я спросила, как насчет общения, есть ли, с кем поговорить, он махнул рукой: «За все время был только один интересный разговор, о Данте». Сказано это было очень горько. К счастью, еще через два года, напомнив ему об этих словах, я получила куда более жизнерадостный ответ: да, теперь есть, есть замечательные люди и замечательные поэты. Очевидно, возможность для такого общения пришла вместе с достижением великолепного уровня английского языка. Но тогда, помню, меня так же кольнула жа-

лость к Иосифу, как в тот раз, вскоре после второй операции на сердце, когда он неожиданно произнес: я знаю, что живу сейчас не мою, не ту, что мне была отпущена, а какую-то лишнюю жизнь...

Полтора года спустя после того, как закончилась и эта, «дополнительная» жизнь Иосифа, несколько десятков человек съехались 21 июня 1997 года в Венецию.

За несколько дней до этой даты, далеко не в первый раз, приехали в Венецию и мы с Дитой и сначала просто бродили по городу, оглядываясь на русскую речь, которая там, как теперь везде, звучит очень часто. Но всякий раз, скользнув по лицам, отворачивались: нет, не наши люди. И лишь 20-го, ближе к вечеру, стали попадаться совершенно другие фигуры, тоже нам не знакомые, но не оставлявшие сомнения в том, что они прибыли сюда по той же причине, что и мы. Стало казаться, что мы их уже когда-то видели, пусть не именно их, а «таких же», что все они прибыли в Венецию на некое действие, в котором Иосиф принимает участие наравне с нами, что он вот-вот появится из-за угла или поднимется на причал с пароходика, что он назавтра назначил нам всем свидание.

Наутро на ближайшем к нашей гостинице дебаркадере я увидела Лору Степанову — впервые за 25 лет, с 4 июня 1972-го, когда мы обе провожали Иосифа в Пулковском аэропорту, как тогда казалось — тоже в потусторонний мир. До Сан-Микеле вапоретто идет примерно полчаса, и за это время облачное с утра небо успело расчиститься, стало тепло и ясно. Кладбище вообще сухое и тенистое, запомнились две высокие и в полном цвету магнолии по обе стороны главной аллеи. Стрелками были указаны направления на различные участки, а также к могилам Стравинского и Дягилева. Не было сомнений в том, что вскоре так же будет указан путь к могиле Иосифа. Но пока что его имя (конечно, латинскими буквами) с датами жизни под ним мы увидели на гробе, покрытом узким ковром, сплетенным из живых разноцветных роз. Гроб принесли еще к не совсем готовой могиле, и пока рабочие возились с лопатами, его поставили в сто-



Могила И. Бродского на Сан-Микеле

роне на козлах, а собравшиеся разделились на отдельные группы; знакомые тихо приветствовали друг друга, а незнакомые друг друга разглядывали в неловком ожидании, как часто бывает на похоронах. Было, думается, человек сто. Я мало кого знала. Некоторых, конечно, узнавала, в силу их всеобщей известности: Сюзен Зонтаг, Барышников, Рейн. А других, с которыми была рансе знакома, не видела иногда десятилетия: Галя Дозмарова, Леша Лифшиц, Миша Мейлах...

Как мне показалось, для большинства присутствующих это была завершающая похоронный год церемония, потому что они были на отпевании и на поминальной службе в Нью-Йорке, они уже слегка смирились с утратой, ведь времени прошло действительно порядочно. Но для таких, как я, которых тоже было много, прощание проходило сейчас, и гроб не был символом, а хранил тело, ту «тленную часть», о которой писал Иосиф на столетие Ахматовой. Было ужасно грустно. Ни музыки, ничего. Когда опустили гроб, какая-то женщина (итальянская журналистка, как нам сказали потом) прочла что-то вроде небольшой проповеди, вернее, избранные евангельские тексты. Конечно, по-итальянски. Вот и все. Нюша кинула в открытую могилу букетик ландышей, а Мария — горсть земли, а за ней все остальные. Зоя Борисовна Томашевская привезла немного земли из Комарова, что-то высыпал из мешочка и Анатолий Найман, не знаю откуда. Могильщики заровняли яму, сделали небольшой холмик, уложили на нем венки и букеты и поставили простой белый деревянный крест с надписью на поперечине Joseph Brodsky. В это время семья (Мария с Нюшей, ее родители и сестра) уже направилась в кладбищенскую церковь, куда потянулись и все остальные. Короткая месса тоже шла по-итальянски. А потом вышел Марк Стренд и прочел по-английски неопубликованные еще «Эпитафии» к «Кентаврам», пятое стихотворение из этого цикла. После чего одна переводчица и Леша Лосев прочли по-итальянски и по-русски «Венецианские строфы». Я всё ждала, что пустят запись, что мы услышим авторское чтение («был всеми ощущен физически спокойный голос чей-то рядом...»), но ничего подобного не произошло. Может быть, так не принято здесь, не знаю. Во всяком случае, мессой церемония захороне-

ния закончилась и все заторопились на причал. Народу было много, один вапоретто не должен был всех вместить, и мы с Дитой решили не ждать, а вернуться на кладбище и уже одним постоять у могилы Иосифа.

Вечером все прибывшие на похороны были приглашены на прием в одно из палаццо на Большом канале. Еще с воды мы увидели балкон палаццо Мочениго, на котором стояли Саша Сумеркин и Диана Майерс, и мемориальную доску на стене — о том, что здесь несколько ночей провел Байрон. Внутри была анфилада громадных салонов с высоченными потолками, слуги в белых куртках предлагали шампанское доброй сотне гостей. Мария Бродская, хозяйка вечера, была очень хороша в черном вечернем платье с голыми плечами и длиннющим газовым шарфом в черно-белый горошек. Нюша старательно позировала, стремясь показать большой бант сзади на своем белом платье, и мы тоже ее сфотографировали.

Сидели за круглыми столами человек по восемь. За одним из столов говорили только по-итальянски, за другими — по-польски, по-английски, по-русски. Было хорошее вино, вкусная еда, приятные люди, но я никак не могла поверить, что это и всё. Думала, что будут читать стихи, вспоминать эпизоды из жизни Иосифа и тому подобное, но ошиблась. Где-то через полчаса раздался стук ножа о бокал: это попросил слова Ромас Катилус и произнес по-английски несколько фраз о том, что мы здесь собрались благодаря Иосифу, буквально оброставшему друзьями, так что и после себя он оставил множество людей, самых разных, которых именно он и объединял или даже еще сможет объединить, если они пока между собой не знакомы, и что, кроме всего прочего, мы должны быть ему благодарны еще и за это.

Больше никто на публику не говорил, а каждый стол жил своей жизнью. К нашему столу с соседнего обернулась женщина. Наших примерно лет, миловидная, заговорила с легким акцентом, но очень правильно по-русски. Через секунду назвала себя: я — Зофья. Это было каким-то чудом. В 1962 году «Зофья» была мифом, никто ее не знал, хотя все твердили, как

сомнамбулы: «В сочельник я был зван на пироги». И тут вдруг — живая, приятная, очень славная женщина, живет в Катовице.

Вот так закончился этот вечер, сплошь состоявший из призраков. И призрачными были палаццо на плохо освещенном канале, когда мы плыли обратно в гостиницу, и уже не верилось, что мы только что были внутри. Бенгт рассмешил всех, сказав, что сюда можно вернуться завтра — досмотреть остальную часть палаццо, поскольку нам известен код на воротах!

А назавтра начался дождь, он то шел, то прекращался, но вода в каналах прибывала медленно и настойчиво и начинала заливать площади. Нам, чужеземцам, пришлось разуться и шлепать босыми ногами, а привычные местные жители мгновенно достали резиновые сапоги, и в речи венецианцев, разбредавшихся в спешке по домам, то и дело слышалось «acqua alta», высокая вода, — за все мои поездки в Венецию я никогда больше не наблюдала этого явления, ни до ни после, а только в июне 1997-го.

Июньский ветер гнал эту «высокую воду» от лучшей в мире лагуны, волны которой омывают остров Сан-Микеле, где неподалеку от «гражданина Перми» отныне лежал почетный гражданин города Санкт-Петербурга, великий поэт, веселый спутник — для тех, кого он дарил своей симпатией.

**Рада Аллой**

- А 45      **Веселый спутник.** Воспоминания об Иосифе Бродском. Вступительная статья Я. Гордина. — СПб.: ЗАО «Журнал „Звезда“», 2008. — 104 с.

ISBN 978-5-7439-0117-3

«Мы были ровесниками, мы были на «ты», мы встречались в Париже, Риме и Нью-Йорке, дважды я была его confidentкою, он был шафером на моей свадьбе, я присутствовала в зале во время обоих над ним судилищ, переписывалась с ним, когда он был в Норенской, провожала его в Пулковском аэропорту. Но весь этот горделивый перечень ровно ничего не значит. Это простая цепь случайностей, и никакого, ни малейшего места в жизни Иосифа я не занимала».

Здесь все правда, кроме последних фраз. Рада Аллой, имя которой редко возникает в литературе о Бродском, в шестидесятые годы принадлежала к кругу самых близких поэту людей. И ее воспоминания возвращают нашему представлению о молодом Бродском широту и объемность, которая теряется со временем.

**ББК 84. Р7**



# РАДА АЛЛОЙ

## **ВЕСЕЛЫЙ СПУТНИК**

***Воспоминания об Иосифе Бродском***

Корректор *Н.В. Виноградова*

Верстка *Е.Ф. Курьянов*

Менеджер издания *В.В. Рогушина*

Подписано к печати 04.05.2008. Формат 60×88 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс Нью-Роман.

Усл. печ. л. 6,37. Уч.-изд. л. 7,0. Доп. тираж 2000 экз. Заказ 88.

ЗАО «Журнал „Звезда“» .

191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.20.

Отдел реализации

(812) 273-37-24, mail@zvezdaspb.ru

Горин В. А.

Отпечатано с оригинал-макета в «ИПК „Бионт“».

199026, Санкт-Петербург, Средний пр. В. О., д. 86.

*«Мы были ровесниками, мы были на «ты»,  
мы встречались в Париже, Риме и Нью-Йорке,  
дважды я была его confidentкою, он был шафером  
на моей свадьбе, я присутствовала в зале во время  
обоих над ним судилищ, переписывалась с ним,  
когда он был в Норенской, провожала его  
в Пулковском аэропорту. Но весь этот горделивый  
перечень ровно ничего не значит. Это простая цепь  
случайностей, и никакого, ни малейшего места в жизни  
Иосифа я не занимала.»*

Здесь все правда, кроме последних фраз.

Рада Аллой, имя которой редко возникает в литературе  
о Бродском, в шестидесятые годы принадлежала  
к кругу самых близких поэту людей.

И ее воспоминания возвращают нашему  
представлению о молодом Бродском широту  
и объемность, которая теряется со временем.